

801-14
1958

МИХАИЛ МИРОВ

R 241
521

ТРИ ВСТРЕЧИ

РАССКАЗЫ



28-67338

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО „НЕДРА“
МОСКВА—1928

тих. Образ неведомого Онуфрия Шкоды неожиданно всплыл и вырос перед моими ненасытными зачарованными глазами, и сразу же, как-то необъяснимо, стал близким и родным, понятным и волнующим. Я, никогда от роду не видевший его, почувствовал и узнал, что должен быть он широкоплеч и строен, что голос его был резок и чист, взгляд прям и непридирчив.

Обрушилось что-то большое, хлынуло сильной и бьющей струей, захлестнуло. Выпал из памяти, в'евшийся занозой приказ начдива, уши, словно оглохнув, перестали слышать надоедливый и громкий храп Василия и Тупикова. Незрячие глаза, глядевшие все также в окно, уж не видели ни звезд, ни ночи, грудь дышала глубоко и ровно.

В непрочной радости и муках, в увлечении, сменившем бессилие, родился стих. В голове ожили и затрепетали иные, никем, как мне казалось тогда, еще не сказанные слова, те, что раньше упрямылись и не хотели вспомниться, те, что раньше наотрез отказывались притти. Строились слова в ряды, полнились и наливались звучностью только-что обретенные, найденные строфы...

Мои взволнованные мысли были быстры и стремительны. Лихорадочные глаза то подолгу глядели вглубь и внутрь, то отрывисто и скользко пробегали по вещам. Кровь была пьяна творческим зудом, а пальцы, державшие карандаш, суетливы и нервны.

Реквием Онуфрию Шкоде через час был готов. Я был горд моим творением, горд и счастлив.

Я не привожу его здесь, потому что годы не те... Потому что ты, мой друг, требовательный читатель, будешь бранить меня за неумелую агитку.

Москва, январь, 1928 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Повесть о дружбе	5
Три встречи	34
Смерть Исидора Лютого	69
Городок	105
Рассказ о шести документах	130
Реквием Онуфрию Шкоде	145

ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА
Р. ХЕРУМЬЯНА

ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ

1. АКИМЫЧ

Мы — я и Акимыч — люди разные.

Акимычу тридцать с большим гаком, а мне документально 18 (иначе добровольцем не взяли бы), а от роду 15 с половиной.

У Акимыча борода лопатой, русая, — а у меня и пушинки не сыскать.

Он бьет ворону на лету, а мне и в корову не попасть.

Он под ружьем „без роздыху“ с августа второй десяток пошел — я без года неделя — добровольцем.

Акимыч — отделенный командир, я — красноармеец и под его началом.

Я его — «Акимыч».

Он меня — «сынок».

Мы — я с Акимычем — друзья крепкие, кровные.

Акимыч меня любит.

А я его? Как вы думаете?

Спим мы, если в поле или еще где придется, то под одной шинелью, а другую под бок, и хорошо! Лады, как говорит Акимыч.

Едим мы из одного котелка. Махра и сахар у нас общие—коммуна. И не кому на, а кому нет, а всегда поровну, хоть он большой, а я, ой-ой, как мельче.

В строю и в походах, когда Акимыч большой и рослый шагает рядом, я гляжу на него с любовью и гордостью.

Акимыч меня учил:

Как винтовку чистить и чтоб в порядке была.

Как штифтов (вшей) в споднем и вообще в обмундировке перевести.

Как курицу (краденую, конечно) без печи и вообще без ничего сжарить и чтобы на-ять.

Как козью ножку свернуть так, чтобы газеты мало шло, чтобы до конца докурить и чтобы носа не спекла.

Как винтовку чистить?—Я думаю, вы сами знаете, а если нет, и если вы в штанах, а не в юбке, то узнаете.

Как вшей перевести, если вы красноармеец и вдобавок во вшивом двадцатом году? Белья у вас одна пара и безусловно только та, что на себе, а вшей, одним словом, миллион или чуть побольше. Постирать можно только в бане и то порой без мыла, или заставить хозяйку, если стоишь в селе. Но, помилуйте, разве от стирки они пропадут, когда, повторяю, у вас их миллион?

— Значит,—говорит Акимыч,—как пойдем в баню, а на баню-то всего сорок минут полагается—баню-то век цельный топить не станут, дров-то нехватка, а вторая смена, небось, ждет. Значит, дай бог, обмыться успеть, грязь, коросту водой попужать, да попариться хоть малость. И вот, сынок, как полезем в тобой париться, так всю одежду с собой захватим, и там ее знать в самый пар, в самое пекло. Вошь-то от жары, ко-

нечно, и почнет лопаться. Трещать станет, затараторит, что твой пулемет. Мы с тобой, сынок, хоть одну ночь вшами меняться не станем. Жара для штифтов хуже газу, гибельная вещь, и матерую вошь уничтожит, и гниду последнюю на развод не оставит.

Да, а еще о курице. Опять двадцатый год. Фронт-вый паек—на что лучше,—а всего фунт с четвертью, а то и три четверти хлеба. С голодухи у какого-нибудь куркуля¹⁾, кагая побогаче—курицу иль гусака со двора слижешь. Два взгляда, а третий—цап. Двумя пальцами, большим и указательным, клюв зажал, чтобы тарараму не подняла. Головой о колено—бац... хряск... и готово. Под полу и айда! Ищи ветра в поле, а коль найдешь, поймать сумей. Ну, да ладно, птица-то есть, а как зажарить, коль ни печи, ни посудыны? Кашевару отдать, сам, сволочь, слопает, скажет—в кандер положил, разварилась и косточек, мол, нет, не осталось. С кашевара, известно, товарищ, как с козла огородник. Одна надежда—Акимыч выручит. И верно:—яму, скажет, копать, в яме костер развести. Глины замесить и всю птицу, прямо с перьями дуй, обмазывай. А как выйдет с птицы глиняный ком, так ты ее в яму на угли горячие и положи. Углями сверху прикрой, землей засыпь и побегай часа два для аппетита—доктора говорят—уж очень полезно. А потом землю отгори и получай жаркое. Перья к глине пристали, так с глиной и отойдут. Выйдет тебе в роде жареное в собственном соку. Ножом иль штыком немецким (кто чем горазд) по ребрам курицу чикнул, а то и пальцами разодрал. Кишки вон, а остальное—жри, уписывай. И если птица в теле

¹⁾ Куркуль—по-украински—кулак. Кагай—куркуль на красноармейском жаргоне.

была и с жирком, то и кости от обжорства слопаешь, а если нет—то дарованному коню в зубы не глядят, не смотрят.

А вот о козьей-ножке, чтобы на-ять завернуть, так об этом, друг мой читатель, не расскажешь. Это, брат, наука, мастерство! Тут надо показать. А если Акимычу верить, то без таланту и с первой, и с десятой показки не поймешь. Дело сурьезное!

И еще учил меня Акимыч, как штаны, гимнастерку латать, как загнать что-нибудь, (купить,—говорил Акимыч—все равно, что вошь убить, а продать—это в роде как блоху поймать)—и еще, как обмотки мотать, чтобы не разматывались, как одним глазом спать, а двумя видеть, и еще... и еще... и еще...

А я Акимыча, скажу не без гордости, писать учил. Читать по-печатному Акимыч и сам умел, по его мнению—плоховато, а по-моему—по складам и никудышно. А писать уж ни в зуб ногой, ни в дышло пальцем. Только разве, что свою фамилию—*Горбов*—печатными буквами и каждая буква в вершок, друг от дружки на поларшина, и всякая на соседнюю косо-бокком глядит.

Любил Акимыч послушать, уважал, чтобы ему вслух читали. И мы с Акимычем таким манером читали и красноармейскую газету «Красную Звезду», и сочинения графа Салиаса, и «Любовь до гроба или Кабардинская княжна», и рваную замусоленную книжицу Виктора Гюго—«Девяносто третий год».

Во многих переплетах и переделках была со мною эта книжка, хотя в картонный переплет так и не попала.

И до сих пор хранит, наверное, Евстигней Акимыч Горбов,—на память о больших делах, великих днях и

о маленьком молодом красноармейце,—старенький, потрепанный томик Виктора Гюго—«Девяносто третий год».

2. ДРУЖБА

В минуты редкие, полные большой любви и внимательности, Акимыч давал мне раза три-четыре потянуть из своей трубки.

Трубка была старая, черная, прокуренная насквозь. Мундштук был из'еден жадными зубами Акимыча. Пахла она терпко, густо, отвратительно. Жгла горло. После нее кашлялось. Но из-за мальчишества, от неутоленной жажды внимания и ласки, я курил трубку моего друга охотно и счастливо.

Осенью, слякотной и непролазной осенью, в грязи на задворках, где роются свиньи, я нашел трубку отделенного командира—Евстигнея Горбова. Два дня оплакивал Акимыч свою потерю. Оплакивал, как сильный мужчина, без слез, но с отчаянием.

Я вернул ему то, что он счел безвозвратным.

С этого началась наша дружба.

Маленькие причины иногда имеют большие следствия—так сказал бы философ.

Но я не философ.

А тогда я был мальчишкой-красноармейцем, задорным и живым.

И дни мои бежали вприпрыжку, радостно и звонко.

Ведь есть же нервная радость в перестрелке, есть восторженный, ликующий клик победной атаки, особенно для меня, искавшего подвига.

Я любил Акимыча и за то, что он звал меня «сынком», и за то, что в бороде его русой и покладистой было что-то отцовское.

Глаза его, серые, мягкие, глядели неторопливо, мудро. Говор был ритмичен и певуч.

Порой хотелось обменять его на мужа моей матери. Порой казалось, что такая мена принесла бы мне радость и счастье.

* * *

В том году, измученном и голодном, в ту зиму, богатую стужей и эпидемиями, было нашествие вшей и белогвардейцев. Приходилось сразу отбиваться от трех врагов: интервенции, сыпняка и банд.

И рядом с лозунгами:
ПРОЛЕТАРИЙ НА КОНЯ
ВСЕ В КРАСНУЮ АРМИЮ
ВСЕ НА ЗАЩИТУ ЗАВОЕВАННИЙ ОКТЯБРЯ
на стенах домов, на заколоченных окнах магазинов красовались плакаты:

ОДНА ВОШЬ ХУЖЕ ДЕСЯТИ СОЦИАЛ-СОГЛАШАТЕЛЕЙ.
БОРЬБА СО ВШЛЯМИ — БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ.

Мы уже пятые сутки стояли в селе на берегу замерзшего Днепра. Хата бревенчатая и душная. На стенах копоть и фотографии усатых солдат и широколицых женщин — самих хозяев и их родичей.

Я лежу лицом к стене на хозяйском тулупе, вывороченном наизнанку.

Я считаю, я пытаюсь счесть и, кажется, безуспешно, сколько сучьев в бревне стены.

У меня жар. Мне зябко.

— Занедужил парень, — поставил диагноз Акимыч и прописал рецепт:

— На горячей печи, прямо, чтобы огнем полыхала, мешка полтора ржи насыпать. И прямо на зерне, голяком ночь проспать, овчиной поверху с головой оде-

шись. Потом прошибет и как рукой снимет. Утром будешь здоров, как семь коров и восьмой теленок.

Мне кажется, что у Акимыча борода то растет быстро, быстро, то вновь моментально уменьшается.

— Ты свою бороду стрижешь?

— Не, не стригу, сынок, только иной раз подрравниваю, — успокаивает меня Акимыч.

Мне странно, я никак не могу понять, зима ведь теперь, а у меня в голове, внутри, муха.

— Акимыч, почему у меня муха?

— Нет, это уж ты, парень, врешь! Откуда мухе под рождество взяться?

— Откуда? Как откуда? Со шлема комбата... Я у него давно ее приметил, на звезде сидела.

— Акимыч, Акимыч!

— Здесь я, сынок, здесь!

У Акимыча на плече живой жаворонок, а мне в голову кто-то гвоздь вбивает... Длинный, длинный, и он гнется...

Ночь была богата лихорадочным вымыслом бредового сна.

Всю ночь Акимыч ходил за мной, то давал мне пить, то ласково гладил шершавой ладонью мой влажный, пылающий лоб, мои сбившиеся кудри.

Утро — тиф «рукой не сняло», а сознание забрало.

Меня, — мое завернутое в чьи-то тулупы пылающее тело, — вез Акимыч в госпиталь.

Вез, нещадно стегая крестьянскую лошадь. Время от времени щупал мой лоб. Если горит — есть зачем гнать, есть куда спешить. Если остыл — некуда торопиться, можно повернуть обратно.

Хоронить везде место найдется.

Земля мертвецов всюду принимает.

3. КОНЕЦ ДРУЖБЫ

В том году, на Украине, полной вшей и бандитов, в те дни, когда штабы работают нервной, а часы, захлебываясь тревогой, бегут и спотыкаются...

Когда чека, как раненая волчица, как больной нерв, становится раздраженно упорной, а партком и комсомол мобилизуют остатки прежних мобилизаций...

Когда по карточкам уже не выдают, а совзнаки никто не принимает...

Когда обыватель прячет ехидный глаз в исподлобье и говорит, что очень скоро и что теперь уж безусловно «товарищам» конец,—а евреи, в местечках и в уездном, днем особенно горячо молятся богу, бьют себя кулаками в грудь, а на ночь прячутся на чердаки и в подвалы...

Когда сионисты пытаются, и всегда безуспешно, организовать самооборону, а бывшие городовые, церковные старосты и содержатели кабаков разрабатывают план предстоящего погрома... в те дни—в старых испытанных полках, в боевых и надежных,—нехватка, недочет.

Это закон поражений—врага удерживают, отступления прикрывают—лучшие полки.

И когда на Киевщине, Черниговщине, Переяславщине, под Трипольем, Бахмачем или Чернобылем поднималась температура, когда невтерпеж становилось жарко—посылали нас, *осназовцев*¹⁾.

Посылали убивать, жечь, ликвидировать.

* * *

¹⁾ Осназ — Отряд особого назначения.

Нас, уставших на смерть, скверно одетых, полуразутых,—разбудили ночью тревогой, дали по сто патронов на штык, погрузили в теплушки, приказали ехать.

И мы поехали.

Усталые—снова уставать, продрогшие—снова зябнуть, вшивые—вшивать еще больше.

И все это во имя Революции, для того, чтобы разбить врага, рассеять банды, чтобы евреев не резали, не топили живьем, чтобы не стояли виселицы на площадях, чтобы был Совет вместо генерал-губернатора, Коммуна вместо власти погон.

Мы ехали...

Поезд неугомонно трактовал колесами, и то тот, то другой из нас вторил колесам окопным простуженным кашлем. Было зябко... Усталость тяжелой ношей неустанно лежала на плечах. Холод по телу пробирался дрожью. Гулкая ругань и махорочный чад нависли тяжестью в спертom воздухе теплушки.

Было сумрачно и только «буржуйка»¹⁾ своим красным воспаленным оком освещала небольшой круг, ложилась багровыми полосами на лица красноармейцев, сгрудившихся подле.

Один из них по прозвищу «Мыло» сидел на сосновом обручке, пел пискливым неприятным голосом:

Ох, ты яблочко,

Да благородное.

.....

Все народное.

Это был единственный допустимый к печати куплет из его большого репертуара. Длинные пальцы его

¹⁾ «Буржуйка» маленькая железная печурка периода Военного Коммунизма.

всегда потных рук, выделявая разные махинации, иллюстрировали отвратительной похабщиной его извращенные песенки.

Он пел... Ребята посмеивались... Акимыч нехорошо улыбался...

Мыло — мой большой враг и ненавистник. Он был среднего роста с маленькими липкими глазками, мясистыми красными губами, с лицом прыщеватым, отталкивающим. В прошлом служил галантерейным приказчиком и фамилию имел тоже галантерейную — Кушачкин. И все — начиная от грязно-пепельных волос и кончая прыщами на его лице — было лоснящееся, глянцевиное, галантерейное...

Подъезжали к станции. Звонкий, четкий говор колес сменился тупым, голодным лязганием стали о сталь. Поезд подходил медленно. Паровоз, пыхтя и отдуваясь, дал свисток.

— Эй, ты, шкетенок, пацан, какая станция? — спросил Мыло, кивнув головой в мою сторону.

Акимыч знал, что я не люблю моего титула «пацан» и за меня ответил:

— Белая Церковь — называется. А почему белая — и татарин не поймет. Тем более, что не то что церкви, а и нужника порядочного не видать.

— Ну, и сукин же ты сын, Мишка, — Акимыч даже руками развел — что ты большак, что ли? Мальчишкой тебя и кличут, коль до мужика не дорос, а по ихнему пацан выходит. А тебе сказать — ты в бутылку лезешь, скипидаришься! Ты вон лучше погляди, мешковой брати, спикудей-то сколько!

Поезд стал.

Народ — люди с мешками, узлами, котомками, в рваных «польтах», в дырах и заплатках, в шапках, надви-

нутых на уши и на лоб, в платках, повязанных за спиной... с лицами злыми, голодными, невыспавшимися — муравьиным роем облепили теплушки. Липли к паровозу, к тендеру. Лезли на буфера, на крыши. Привязывали к буферам мешки, привязывались сами.

В теплушки их не пускали, а они, особенно женщины постарше, просили, молили, клянчили. Говорили, слезно плакали о детях, не жравших уже которые сутки, о сыновьях тоже красноармейцах, о том, что в госпиталь к безруким, безногим едут... Но все это слыханное, приевшееся — не трогало, как будничное, каждодневное, показное несчастье нищих и калек.

Мы были упорно жестоки, и потому, что нельзя было отличить голода от наживы, несчастья от спекуляции, и потому, что времена учили упорству и жестокости в борьбе.

Только, сволочь, Мыло сумел с'агитнуть еще десятка-полтора лоботрясов и мы впустили к себе в теплушку двух явных спикудей-мужчин за четыре больших куска сала (тут же с'еденных всей братвой) и еще трех здоровых, красных, толстых украинок — «моих землячек» — по рекомендации Кушачкина.

Поезд опять тронулся... Не спеша, с остановками, заговорил колесами...

Командиры приказали взводным в каждой теплушке держать всю ночь усиленные караулы, и чтобы никого, кроме своих армейцев, — не пускать, дверей не запирать и караульным стоять у открытых. Командиры бегом обежали состав, заглядывали в каждую теплушку. Острый командирский глаз не смог, очевидно, осилить сумрак, и наши пять пассажиров, заткнутые по темным углам, остались.

Комбат вызвал пять добровольцев на охрану паровоза. Вызвалось трое: Полунощников, Джовбуля и я. Еще двоих нарядили из первой смены. Нам наспех выдали гранаты — по две на одного — и поставили двоих у фонарей и трех у машиниста.

Акимыч не пошел. Всегда и всюду вызывался, ходил первым, а тут, на тебе, смолчал. Я никак не мог понять — почему.

— Иди, иди, сынок, что я тебе нянька всюду за тобой ходить?

Я стоял и думал все о том же — почему?..

Машинист — высокий человек с воспаленными от недосыпу глазами — пытливо вглядывался вперед.

Паровоз шел осторожно, с опаской щупая фонарями путь. Ветер, задувая, лез под шинель, казалось, непременно хотел, пытался хлестнуть изморозью по голому телу.

Через два пролета нас сменили. Мы снова вернулись в теплушку. Дверь, вопреки приказа, была закрыта. В теплушке острый, неслыханный запах щекотал ноздри. Акимыч, положив голову на чей-то бок, спал... Кушачкин, потирая руки и как-то даже подпрыгивая, сказал:

— Ну, ребята, ваш черед... погрейтесь... Бабцы, говорю, на-ять.

И, казалось, что это говорит не Мыло, а его глянцеволицевые, торжествующие прыщи.

Было жутко... В висках стучало, сердце топотало быстро, быстро.

Трое украинок лежали на разостланных шинелях в углу. Две из них лежали на боку, плечи их вздрагивали, дрожь проходила по всему туловищу, карежила пальцы, влившись в голову. Третья лежала на спине.

Подол закинутой на голову юбки закрывал лицо. Лоб и оголенные ноги мертвецки, жутко белели. Она лежала неподвижно, только грудь высоко и неровно вздымалась, дыхание вырывалось свистящим, долгим звуком.

Резкий запах мужского пота, и еще чего-то более отвратительного, опьянял, туманил, коверкал думы. Изголодавшаяся мужская сила искала выхода, гнала на подлость.

Все пришедшие наспех поставили винтовки. Трясущимися, ставшими непокорными, с'ежившимися пальцами, стали расстегивать ремни, пуговицы.

Я закричал, завопил чужим диким голосом.

Бросился к Джовбуле, начал его стаскивать... Он не давался, отбрыкивался, рычал...

Мыло мигом набросил мне на голову чью-то шинель. Еще кто-то, еще несколько ему помогли. Меня повалили на пол. Стали бить... били жестоко, остервенело. Калечили...

Акимыч спал...

На утро в Киеве украинки сошли. Шли, еле передавая ноги, с черными кругами под глазами, с темными пятнами на измученных, осунувшихся лицах.

Никто — ни один не посмел встретиться с ними взглядом, только Мыло глядел им вслед лоснящимися маленькими сволочными глазками.

И когда я, избитый, в синяках, спросил Акимыча — Акимыч, а ты?.. как вчера... тоже?

Акимыч скрипнул зубами, замахнулся кулаком и сквозь сомкнутые зубы выдавил:

— Молчи, стерва, изувечу!

Вечером следующего дня в стычке со струковцами, Мыло, Джовбуля и еще 39 наших было убито.

Только Мыле две свои пули попали в спину, а остальным вражки попадали в грудь.

Прошло двое суток после памятной ночи. Та ночь впилась булавкой в думы, в'елась, выжгла в памяти большое, едкое клеймо. Я на утро забрал из Горбовской, Акимычевской сумки мое полотенце, пару белья, пару портянок, «Девяносто третий год» и пачку махры. Это была моя доля а общем достоянии Акимыча и «сынка».

И настал конец дружбы.

Дружбы, вклинившейся светлым часом в мой долгий красноармейский день.

На переключке после боя со струковцами, комбат проверял наличие оставшихся штыков. Когда из общего ряда имен и фамилий выпал Митродор Кушачкин — никто не отозвался. Комбат, вопрошая, поднял глаза. Акимыч, ответил кратко:

— Убит.

— Почем знаешь?

— Видал...

Так был вычеркнут из боевых списков нашего полка Митродор Пантелеймонович Кушачкин, день назад вырванный из числа живых подлецов и подхалимной мерзости.

4. АКИМЫЧ РАНЕН

Станцию — два каменных здания и длинный деревянный сарай нам сдали без боя.

Враг решил отойти...

От станции вправо с версту тянулось поле, за полем пригорок, на пригорке село. В селе засели враги. Станцию они сдали, не желая защищать скверных, от-

крытых позиций. Мы попробовали было сналету взять и село, но были с уроном отбиты частым ружейным и пулеметным огнем...

Нам было приказано укрепиться и ждать подкреплений...

День стоял осенний, сухой и ветренный. Местами серыми пятнами подсыхала черная грязь. На холме, стоявшем вправо, особняком на вражьей стороне, лениво всматриваясь, промаячили какие-то три фигуры.

Скрылись...

Перед вечером нас усилили двумястами штыков. Комбат диким рвущим голосом скомандовал атаку:

— В атаку-у-у!! Цепью!!!

— Пошла наша! — уж на бегу завопил комбат.

Голос командира, чужой и властный, резнул уши, отдал в нервах, в пальцах, судорожно сжавших винтовки...

Голос командира сразу вышиб все мысли и мигом заставил забыть все, вселил жажду движения и борьбы. Ноги, казалось, неслись скачками не оттого, что так хотели комбат и мы, а в силу какой-то им присущей пружинности, отталкивающей с каждым шагом от земли.

Мы согнувшись, быстрым бегом летели вперед... Наши глотки что-то ржаво орали... Враг молчал.

Вдруг...

Неожиданно и вдруг впереди затараторили пулеметы... Грохнул вражий залп... Полоснул огнем...

Акимыч рухнул набок.

Убитые, раненые падали, приседали. Живые скачками неслись, наступали вперед...

Грохнул второй залп...

Упал навзничь, заерзал ногами комбат.

Враг стрелял пачками...

Другое, еще более властное, чем вопль комбата... паника... страх... заставили повернуть обратно...

Люди падали... Рыли ногтями землю, захлебывались собственной кровью, то судорожно скрючивали, то рывком отбрасывали ноги.

Враг в спину хлестал огнем.

После атаки, успешно отбитой врагом, я с санитарями пошел искать раненых. Я искал одного. Они искали многих. И я и они добились своего.

Я нес Акимыча на походных кровавых носилках. Шел впереди. Слезы часто падали с глаз. Ночь черным беззвездным парусом покрывала небо. Под ногами прожорливо чавкала грязь.

Акимыча ранили в среду. Пулеметным огнем изуродовало ноги. Пробуравило мякоть, раздробило кости.

В четверг товарищ Горбов лежал уже без ног... Две ампутированные, некогда ходившие конечности, два обрубка валялись на полу, в углу операционной.

* * *

Прошел месяц боев и наступлений.

Наш израненный полк, истерзанные остатки его получили, наконец, право передышки. Мне дали пятидневный отпуск и литер в Киев, где лежал Акимыч.

Я приехал. С вокзала, скорей похожего на барак, который так не к лицу красавцу граду-Киеву, я пошел сдавать привезенные пакеты. Потом быстро-быстро зашагал по длинной, как последняя верста большого перехода, Васильковской. Облазал горбы Госпитальных переулков.

Пришел...

Рослый, широкогрудый, русский былинный молодец — отделенный командир Горбов — лежал жестоко укороченный, занимал половину койки.

Я бросился к нему. Поцеловал в усы и губы. Целовал долго и мучительно.

Так целуют только мать или любимую — несколько раз за всю жизнь.

Такие поцелуи редки. Долго, очень долго, как реликвию, хранит их память.

— Пришел таки, сынок, инвалида проведать? Видать не забыл старика.

— Акимыч, ой, Акимыч!

Впалые щеки Акимычевского исхудалого лица, глубокие борозды пожелтевшего лба, говорили об изведенном стредании, о тяжком раздумьи одиноких госпитальных ночей. Все такие же, как и прежде широкие плечи не поражали былой силой, мощью северных, кражистых богатырей.

Я не знал, куда спрятать ноги. Мне казалось, что Акимыч должен глядеть на них с завистью и болью.

Искренно и дружелюбно текла наша беседа, тихо журчала в ушах.

Мы говорили, я рассказывал о наступлении, о боях, где Акимыча уже не было, об отделенном командире — преемнике Акимыча, о новом военкоме, сменившем старого, всем полком любимого Лешку Грудкова... о многих маленьких и мелких только для нас двоих больших и интересных вещах.

Тяжело раненый китаеза, лежавший на койке рядом, осторожно гладил левой беспалой рукой свой изувеченный, забинтованный живот.

Сестра-санитар с бледным лицом, с глазами холившими внимание и озабоченность, стояла подле. Угова-

ривала китаезу выпить мутно-желтую микстуру. Китаеза морщился, закрывал маленькие раскосые глаза, хотя, кряхтя и охая, пил.

Акимыч глядел на меня ласково и благодарно.

На другой день я принес моему другу обмененную на пару казенного белья новую трубку-носогрейку и пачку легкого табаку.

Акимыч радовался, как больной ребенок, получивший нежданный удивительный подарок. Он примерял трубку к зубам, оглядывал ее, охорашивал. Мои губы улыбались, глаза бродили по Акимычеву родному лицу.

— Значит, конец неурядице. Старый друг, выходит, лучше новых двух... Видать, забыл, сынок, теплушку-то...— Акимыч виновато улыбнулся.

— Н-е-е, не забыл, Акимыч, помнить нельзя, вот что...

— Эх, ты... Мал ведь еще, в этом вся загвоздка. Молодо! Молодо в теле, зелено в понятиях. Кровь в тебе не говорит, нема еще. А если б заговорила—понял бы старика... С голоду, понимаешь, с голодухи я на это дело пошел, не от озорства. Нешто мне этим делом баловаться? Два года с лишком бабу не мял. По ночам соком исходил, все бабы снились... А ты говоришь... С такого положения чорт что понаделаешь, человека зря зарежешь... если помехой станет...

— Значит и меня убить мог?

— Из-за бабы, свободная вещь, что и прикончил бы, порешил бы. Баба, когда сердце занозит, с ума сведет... Вот убил бы, говорю... И верно говорю, при мне убил... Хошь расскажу, не поверишь.

— Так значит, ты прав, Акимыч?.. И Мыло прав?

— Ты меня с поганью не ровняй, сукин сын... Не

ровня я Мыле.— Акимыч от возбуждения поднялся на локтях. Мне стало его жалко.— Нет, не прав я... Какая тут может правота быть, когда бабу силком берешь? И судить меня нет у тебя прав. Я больше жизни, вишь, отдал, и не жалею. Куда я без ног-то денусь, какой с меня работник?

— Еслиб я от своей бабы другую силком мять пошел бы— другое дело. А то-ж, говорю, с голода, и вообще от войны, от неурядицы. Десять лет с гаком шивить да драться— это, брат, не пустое дело. Ты, конечно, верно говоришь, сынок. Верно, что нет у меня правоты и не может быть. Но и не я один виноват— судьба больше виновата, жисть наша неверная...

Акимыч устал от возбуждения. Красные пятна пошли по его лицу, заиграли на впалых щеках. Мы больше с ним не спорили.

Я сидел у него долго, пока не прогнала сестра. Прощаясь Акимыч снова обещал рассказать завтра о Рывуне.

Рывуня? А что значит это странное слово, так и не сказал.

— Завтра, сынок, узнаешь, завтра.

5. РЫВУНЯ

РАССКАЗ АКИМЫЧА

«Стояли мы тогда в местечке, в Чернобыле. Только три дня, как струковцев выкурили. Осень стояла налитая, поздняя. Небо высокое, звонкое. Дома на улицах хмурые, пришибленные. Окна битые, на ветру слезятся, рамы хлопают. На кладбище на еврейском второй день воем воют. Уходя струковцы погромом

отпращались, отспасибовали. На задворках, где убитые валялись, старые жиды ходят, молятся, кровь собирают. На камень, если кого убивали, капля крови попала, в землю ли просочилась, доску ли мозгом с сукровицей забрызгало — все соберут. Камень обобьют, землю кровяную сгребут, доску от сарая оторвут — нельзя, мол, иначе. С чем жил, с тем и хоронить обязаны. Кровь, зубы, мозги — все в могилу пойти должно, даже омыть или переодеть мертвеца, если не своей смертью помер — и то не полагается — таков закон еврейский. Чудной, строгий закон.

Три дня мертвецов хоронили, три дня плакали, три дня выли. А на четвертый мы приказ получили. — Пожалуйста бриться на петлюровский фронт. Перед самым выступлением комбат нас двумя добровольцами поздравил. Двумя тощими, длинными жидками. Молоденькие, пейсатые, носы в версту, бороденки курчавятся. Подсумки на их длинных халамидах, как на коровах седла. С винтовкой порядка-обхождения не знают. Стоят с ними, как бабы с ухватами, колени врозь, гляделки пучат. Большие черные глаза, как с испуга глядят, и взгляд у них вдовий.

Ну думаем:

— Войско!

Один на Авро-Залмана откликнулся, а другой Мордахей какой-то. Фамилия первому Гутгарц, а второму Ройзлер. Натощак не выговоришь, а поевши и вовсе сблюешь. По-нашему все еврейским наречием, все на р-р-р-р — говорят.

— Ройзлер, а ну-ка скажи: муха-барабанщик!

— Ну, муха-багабанчик!

Мы все в хохот, в крик, в гоготанье. Животы рвем. А они, бывало, поглядят на нас недоуменно, в роде

испуганно, и молчком прочь отойдут. Чудной народишко! Мы их иерусалимскими казаками прозвали. Иные им вовсе проходу не давали, дразнили тартарами, местечковыми гармидарами. Ройзлеру советовали повеситься — все равно, мол, убьют и шея благо длинная. А Гутгарцу в околодок итти, испуг лечить: — испуг мол, не сифилис, авось касторкой вылечат.

* * *

Через неделю мы как раз на бандитье нарвались. Село пришлось с бою брать. Кругом обходить — кряк большой. А в селе кагаи засели. Приказ вышел нашему батальону, коротко:

— Очистить!

Главное, река глубока и мост деревянный. Мы только было к нему тронулись, а бандитье с пулеметов так и зашпарило. Мы назад... Комбат руками машет — «Даешь!» орет. Мы снова атакой. Глядим, палестинские казаки уже на середине моста, прямо на пулеметы прут. Пули кругом жужжат, по мосту цокают. Пулемет тараторит, сыпет, а они на-пролом. Халамиды длинные по ветру раздуваются, парусами черными хлопают. Ройзлер впереди бежит, Гутгарц чуть позади ногами тощими жердяными вскидывает. Бандиты думают «заговоренные — пуля не берет». А они как подлетели, обоймы дорогой исхолостили и пошли прикладами как обухами колошматить. Откуда только сила бралась! Сам видал — три головы, как три спелых о земь брошенных арбуза, хрястнули. Мозги белым студнем кругом разбрызгало. И чтож, думаешь, вдвоем нахрапом пулемет отбили. Только потом опосля боя Ройслера с полчаса рвало. Гутгарц его за голову

держит, а тот ему на халамиду блюет... Ребята трепались, что с испугу, а я думаю может с'ел что и с сильного бегу его и выворотило.

На утро после первой же ночевки полку на площадь велено — в строй.

— Смирна-а!

Военком полка приказ читает. Раньше Троцкого, длинный наказ отшпаргалил, а потом свой полковой, коротенький:

— «Красноармейцев Гутгарца и Ройзлера отметить как боевых бойцов. Выразить благодарность за героизм, за красную, вообще, боеспособность. Обмундировку тоже выдать в первый черед».

А потом помню месяца три после этой волюнки привелось нам гарнизоном в деревне стоять. Деревня пшеничная, полтавская. Жратвы завал, самогону гибель, девки податливы. Не житье, а пир хмельной — пьяный. Простояли мы там недели полторы — все чин чином и палестинские казаки с нами. Деревня только-только усмиренная, а мы с дуру и в ус не дуем — живем. Думаем с нами бог и четыре китайца и никакая гайка не возьмет! А оно вышло — взяло. Занялись мы как то ночью храпным делом. Кто с бабой, кто без — а только все храпцу выводили. Бандитье и наскочило негаданно. Ночь, пальба, темнота — дальше носа не видать... Что ты будешь делать? Я, хорошо, в одежде лег, только обутки снял. И сразу, как очухался, так колеса на ноги подцепил, винтовку в руки и с хаты долой. На двор выбег — кагаи кругом, стреляют. Я как бутылкой (гранатой) полосну — их человек шесть и разнесло по кусточкам. А я сам ходу. Пехом — до штаба — двенадцать верст живой ногой отмахал. Одним духом!

Изо всего гарнизону — из 33-х штыков — я вот один притопал. Да к вечеру еще Гутгарц Ройзлера раненого на плечах припер. Морозец градусов на пять, а он босиком в одних сподниках да еще товарища на холке прет. А сзади погоня шпарит. Вот дружба была! Такую дружбу, сынок, со свечей средь бела дня не сыщешь. Неразлучно ладно жили, как молодой мужик с красивой бабой. Идут бывало всегда рядышком, руками машут, тарабарят, нам и слова понять не в моготу, по-своему все тараторили. И так всегда... И об чем только языки чесать месяца три подряд и никак не наговориться. Вот чего понять не могу.

Идут бывало, Ройзлер бумажку жует, а тот ногти грызет, обкусывает, иль курят оба, дымят не выпуская цыгарок из хлебал. А то молчком идут, друг на друга поглядывают. И всегда вместе. И спать, и пить, и есть, и даже оправляться ходили вмести. Только вот уж когда разойдутся порознь, так это когда письма придут.

Я хоть и не получал писем-то, некому мне писать, а знаю — лучшей радости на фронте нет. Тем более в те года, когда все больше с оказией шли, так, наобумлазара письма ходили. А бывало как придут, так лица и засветятся, глаза заблестят, подымутся, как травка весной. Все равно, что душа в бане была, грязь с нее смылась.

И всегда бывало обоим палестинским по письму сразу приваливало... Разойдутся тогда по разным углам — каждый свое читает. Раз прочтет — мало, два прочтет — мало, сотню раз прочтет — не насытит. Дня два, три порознь ходят — читают. Потом опять сойдутся, друг дружке письма показывают. Только все письмо чорта с два товарищу покажет. То начало (письма-то) рукой прикроет, то конец, лодонью прижмет. Потешные ре-

бята были. Носятся бывало с письмами, как дурни с писаной торбой (поговорка такая хохлацкая). Прочтут, начитаются вдосталь, выймут из нагрудного, внутреннего кармана тоненькую пачечку писем, завернутых в платок — положат туда и свежие, теперешние, опять завернут в платок. Сверток в карман, и карман булавок заколют. И берегли они письма свои, как человек кривой, одноглазый последнее око бережет.

Помню раза два один Ройзлер письмо получил, а Гутгарцу, выходит, только пишут. И почнет тогда бродить Гутгарц неприкаянным. Темный, сумный слоняется из угла в угол панихидой — места себе не найдет. А тому в роде как-будто и стыдно — не по себе, что ему одному счастье привалило, а сам ходит радый, от счастья земли под ногами не чувствует. Сядет себе где-нибудь в уголку, улыбается, светится. Уж кто, кто, а я за ними доглядывал, все примечал — небось оба в моем отделении были.

* * *

Стояли мы раз в карауле. Мост охраняли. Ночь темная, хоть глаз выколи. Тишина кругом звонкая. Слышно, как костер горит. Двое очередных стоят, глазами темень щупают. Мы все лежим у костра. Кто дремлет — жену во сне видит, кто курит, кто на небо глаза уставил, звездам радуется. Гутгарц рядом лежит, в огонь глядит, ногти покусывает.

Тихо кругом. Ночь шелестит темнотой, да ребята дышат. Вдруг слышу, жалобно, жалостливо, как мать дитячко любое, малое, Гутгарц кого-то зовет, кличет:

— Рывуня, Рывуня! Рывелз, Рывелз!

Меня аж за душухватило, аж, что-то зацарапало в грудях. А ребята, услышав, со смеху как прыснут, и пошла наша гоготить, улюлюкать.

Опомнился, встал Гутгарц. Руками в голову вцепился. рот скривил: А-а-ай!! И подался от нас подальше, в темень, в ночь. Ребята ему смехом в след, хохотом провожают. Животы рвут, от потуги слезы на глазах.

Только под утро Гутгарц вернулся. Глаза блестят, зубы сжаты... Молчит.

С той поры мы его «Рывуней» и прозвали. Сперва не понутру ему кличка пришлась, а потом привык, на нее и отзывался.

Долго не знал, я, что «Рывуня» собой обозначает. Спустя уж узнать привелось. Имя, видишь ли, девичье у явреев есть — Рыва. А если поласковой, душевней, ну, если невеста, скажем, твоя, иль ты ее хахаль, так ты ее Рывулей, Рывочкой станешь звать. Вот как я мою Прасковью, молодайку одну, Паночкой звал.

* * *

Спокон-веку так, сынок, заведено, чтоб день ночью сменялся, чтоб солнце по ночам отдыхало. Чтоб неделя из семи дней была, чтоб недели в кучу собирались, в месяцы складывались. Первый раз, когда я из деревни в город прибыл, как в солдаты взяли — так каждый фонарь — удивление, каждый фараон — власть, каждое пальто с воротником — сила, а трамвай уж такое диво, прямо страсть. Бывало на все гляделки пучишь, глаза проглядываешь. А теперь, тыфу, и глядеть тошно — эка невидаль, подумаешь. В первые дни, как палестинские к нам в полк прибыли — только и разго-

вору было, что про них. Потом пригляделись, пообвыклись, и интересу к ним мало. В товариществе ребята хорошие, ладные, только одно слово — молчаливики. В боях за чужую спину не лезут, не норовят и в атаке затылок показать, а до остального нам дела нет.

Помню, были мы тогда в резерве, в Киеве в Бендерских казармах. Вечером дело было. Кто спит, кто в карты в козла или в подкидного дуется, кто так сидит — вошь давит, кто говорит, кто слушает. Рывуня, Гутгарц значит, на спине лежит — крепко спит. Муха большая, зеленая, по глазам, по ресницам похаживает, а он хоть бы хны, и не слышит. Вкусно похрапывает, нос лоснится, губы движутся, улыбаются. Может Рывуню свою во сне целует, от того и губы со сна улыбкой чешет. А у нас в роте озорник один был, по фамилии Байбышев. Большой мастер бузы и разных петрушек. Вот он у спящего Рывуни, от неча делать и вообще для смеха, письма из кармана взял да и вытащил. Платок развернул, а письма по еврейски писаны — посмеяться выходит не над чем. Только что карточка евреечки одной молоденькой, чернявенькой. Я как на нее, на карточку глянул, так и застыл. Точно такую, видишь ли, я у Ройзлера видал, только у Ройзлеровской карточки угол смят, оборван, а эта цельная.

Тут как на грех Рывуня проснулся.

За карман царап, а он пустой, писем нету. Он с нар долой. Дрожит весь. Губа нижняя отвисла, дергается. В глазах уж не вдовий взгляд, — куда там!

А как увидел... Как увидел письма-то, так сразу к козлам, в один прыжок, винтовку в руки, затвором лязг, Байбышеву в грудь метит.

Байбышев письма бросил, а сам ходу. За печь наровит. Мы все к Рывуне.

Еле винтовку отняли, еле выдрали. Думали нас пристрелит. И может и вышел бы грех, если б на шумиху Ройзлер не прибег.

Постоял Рывуня с минуту. Огляделся. Собрал письма бережно, карточку даже этак погладил. Опять тихоней, молчаливиком сидит.

Вот какой человек был!

* * *

На фронте сам, сынок, знаешь, день в год и год в день. Тянется, пока не оборвется. Пуля, граната-ль, снаряда осколок — и тебя нет, и дней нет, и секунд нехватка.

Великое дело жисть человечья!

Дороже чего и не сыскать, и не найти. Великое дело, а иной раз и на смерть, как на свадьбу идешь.

А в другой — из-за трын-травы, из-за дела никудышного, никчемного — свою жизнь отдашь и еще у другого отберешь.

Отступали мы. Фронт прорван... Мешанина, ничего не разберешь. Со штабом связи никакой. Куда уходить — неведомо. Артиллерия построжки порезала — и верхача, куда глаза глядят. Обоз тоже насчет драла — первый мастер. А нам — пехтуре завсегда за всех отдуваться. Бежим толпой, густыми колоннами. Вот, вот, думаем, догонит. Ослабела у нас гайка. Страх... устали до седьмого поту, ноги итти отказываются.

Рывуня и Ройзлер рядом шпарят. У Рывуни две винтовки за плечами — своя и ройзлеровская. А Ройзлер и без винта еле ногами перебирает, бледный, волосы на лбу слиплись, черные.

Шоссой идем. Пыль да камень. Страх в курунах сидит, подстегивает, погоняет.

А тут на беду ероплан польский, поверху жужжит, а нам в грудях отдает, за душу хватает.

Снять порешили. Все равно видать заметил. Но разве его с винтовки снимешь? Залпом бы его угодить, а мы в одиночку, пачками кто куда горазд.

А он в нас бомбой жак... Мимо... Он другую... Опять мимо... Мы бежать, да не рассыпью, а сдуру опять-таки скопом... Третьей-то бомбой в самую середку и шпокнуло. Мы все на землю попадали — ждем второго угощения. А ероплан ввысь, и ходу.

Когда немного разошлось, себя ощупал — жив вижу, и даже на тронуло. Ройзлер рядом со мной встает.

Встали, огляделись.

Тарарам кругом, не разбери-бериха. Осколком много братвы попортило, а кому и чистая отставка, на тот свет беспересадочный проезд.

Бомбой яму здоровую выворотило, а у ямы, на краешке, батюшки мои, Рывуня лежит. Изуродовало его, как бог черепаху. Ноги покромсало, искорежило. На спине лежит, рукой машет, товарища, видать, кличет.

Бежит к нему Ройзлер, со всех ног бежит. И кричит Гутгарц Ройзлеру на своем наречьи, на яврейском языке, кричит, хрипит, мается.

Подбежал к нему Ройзлер, трясется, плачет. А Гутгарц все правой рукой достать что-то силится. Я думал письма, потому раза три слышал, как имя это самое — Рывуня — поминал.

Говорит Гутгарц быстро, быстро. Трудно ему языком ворочать. Слов, видать, не договаривает, наклониться к нему просит. Присел к нему на корточки Ройзлер, голову ему поддерживает, а у самого слезы из глаз бегут, бегут. У Гутгарца под ногами кровь красной скатертью стелется. Я рядом стою, что делать не знаю.

Кончается, вижу. Ройзлер плачет, в лоб его целует, что-то сказывает.

А Гутгарц вдруг дернулся, как ошпаренный, оттолкнул лежа Ройзлера, а потом как вытащит ногой-то, как трахнет, — так Ройзлер с копыт и долой. В глаз, видишь ли, попал, затылком вышла.

Тут я не выдержал. Сердце у меня от боли заржавело, злоба, кровь колесом к горлу подкатила, я штыком, как рвану, так к земле Гутгарца — жидя проклятого — и пригвоздил.

Да и зря видать штыком полоснул... Попусту... В один миг и без моего штыка оба вместилах кончились"...

— Вот, сынок, и все ведь из-за бабы!

— Подыхал ведь, а не захотел, чтоб товарищу досталась.

— А ты говоришь?! Эх, ты! молодой, зеленый, недотяпанный!

Акимыч кончил, борода его русым квадратом упала на грудь, и не то вздохнул, не то охнул.

* * *

Я ушел от Акимыча поздно...

Ночь темной женщиной ждала меня у дверей госпитали. Неразделенная, никому несказанная, печаль плескалась в сердце. Перед глазами стояли то Акимыч с его двумя обрубками, с губами шепчущими и немного жестокими. То два узких лица — вдумчивых и печальных, и тогда в середине становилось третье — лицо девушки Рывуни — с больших глаз ее крупные падали слезы.

Ветер обдувал думы, ошпаренные рассказом Акимыча.

Луна пеньком серебряным плыла по небу в караване облаков.

ТРИ ВСТРЕЧИ

ПЕРВАЯ

Конотоп, город, где „потопли“ кони потемкинских гусар, шедших покорить и уничтожить Запорожье — тонет в мутной влаге осеннего дождя — тонет в темени слякоти и грязи.

Я и Мишка Фиников — мой взводный командир и тезка, оба продрогшие, усталые и злые, идем на вокзал на ночевку.

Улицы пусты. Домишки прибитые, пришибленные страхом бомбардировки, жмутся друг к другу по обе стороны мостовой. От уличной грязи, от дождя, что льет неустанно третьи сутки, от того, что идти нам еще две версты — нудной плесенью обрастают мысли, а на сердце — слякоть и бессильная злоба.

— Бог у нас, видать, ни к чорту стал. Одряхлел. Круглые сутки льет, — вдруг сказал и рассмеялся Мишка Фиников, и сухой его смех рассыпался мелкими камешками.

Мишка Фиников лицом угрюм, насуплен, пожалуй — даже стар, и только улыбкой и глазами он бывает

как-то нечаянно молод. Вот хотя бы сейчас, скаламбурил Фиников о божьей немощи и сам рад, скалит зубы и собирает морщинки у глаз. Совсем другой человек перед тобой — и глаза не те, что раньше, и брови как-будто не так лежали, и усы его как-будто до того иначе росли. Большой и искусный мастер острого меткого словца — мой командир и тезка. И бережет он уменье свое, от случая к случаю, и никогда не бросит слова даром, — всегда оно у него на месте, всегда впопад.

Идем мы с ним, а дождь все льет. Безнадежно, словно нехотя, сеет меленький, холодный и частый. Два раза нас останавливали патрули, такие же продрогшие и мокрые, в набухших пудовых шинелях, — спрашивали пропуск, хриплым шопотом отвечали отзыв, пропускали дальше.

Стояли мы тогда с Финиковым в теплушке его приятелей матросов. Их было пятеро, ребята простые, артельные и ладные. Только один из них — Васька Сомов был мне не люб и противен. Он был громаден, тяжел и неповоротлив. Багрово-синий рубец снизу доверху рассекал всю его левую щеку. Куска верхней губы не хватало и от этого три огромных лошадиных зуба были ничем не прикрыты. Если вам пришлось бы встретить Сомова, то раньше всего, вы бы уперлись взглядом в рубец его и обнаженные желтые зубы, они бы у вас застряли в глазах и мешали бы разглядеть остальное.

В теплушке было накурено и дымно, так что с непривычки слезились глаза и было трудно дышать. А народу было всего трое — Васька Сомов, хохол Пацюк и еще какой-то чужой матрос не из нашей теплушки. Тускло и чадно горело какое-то вонючее

масло в плошке. Свет от пламени шёл неровный, вздрагивающий. С фитиля толстого и неумело свитого по минутно приходилось снимать нагар.

Васька Сомов с пришлым матросом играл в карты. Партнер Сомова — Андрей Калтыгин (имя и фамилию я узнал после), широкогрудый красавец матрос, с упрямым и сильным лицом, с тонкой, словно нарисованной бровью над темносиними глазами — играл нервно, торопливо и, очевидно, неумело. Он сидел на ящике из-под пулеметных лент, упруго изогнувшись. На черной ленточке его форменной матросской бескозырки белыми буквами значилось: „Анархист“.

— А-а-а! Андрею Калтыгину, отдельное почтение! — так приветствовал Мишка Фиников пришлого матроса. — Что, говоришь, слабо? Не везет?

— Дела на вате... Продулся в стос, — хмуро и нехотя ответил Андрей.

— Ничего, парень, карты не кобылка, перед светом повезет.

Калтыгин проиграл уже Сомову все свои деньги, офицерскую кожаную сумку с компасом и картой, английскую шинель, бушлат и новый длинноствольный парабеллум. Теперь играл под часы.

Часы были золотые. На крышке затейливо и тонко из мелких драгоценных камней был соткан чужой какой-то вензель под короной, — а с внутренней стороны было выгравировано:

„Военному Андрею Калтыгину за революционную отвагу и пролетарскую стойкость в деле борьбы с контрреволюцией“.

Мы все трое — Мишка Фиников, я и Пацюк тесно сгрудились подле игроков, остро и внимательно следили за игрой. Накур и чад резали глаза. Чужая азартность заразительно действовала.

Я стал сзади Сомова и как-то случайно заглянул к нему в карты. Не поворачиваясь, он глянул на меня боком, сложил как-то странно свои изуродованные губы, — жирным отвратительным плевком залепил весь мой левый глаз.

Я, как ошпаренный, кинулся было рукой к кобуре, но Фиников схватил меня сзади за воротник...

— Молчи, дурак! — только и сказал он.

Я опомнился и стал обтирать мерзкий, вонючий плевком.

Сомов победно прохрипел простуженным басом, бросив на стол карты:

— Хватит... Считаю, с меня довольно...

Андрей проиграл и часы.

Калтыгин поднялся, злобно и заковыристо ругаясь. Его пятиэтажная брань неизменно заканчивалась: «в гроб мать». Ее сложная композиция, ювелирная отделка и тщательный подбор частей — указывали на творческое упорство и долголетнюю практику.

— Сдай еще раз... в долг... — покраснев, не то попросил, не то потребовал Андрей.

— Не пойдет! — коротко и жестко отрубил Сомов.

— Сдай! Слышь, говорю, сдай! — сжал кулаки и всем туловищем подался вперед Калтыгин.

— Нет, в долг не дело... На «пан-пропал» — хошь сыграем.

— Это, как еще на «пан-пропал»?

— Дело ясное. Твоя возьмет — все, что продул, обратно тянешь. А коль мой верх — моей теще на тот свет поклон свезешь. Наган дадим — три пустых, четыре боевых... валяй, шмали себе в лоб. На пустой попадешь — опять же все, что продул — твое... Ну, а коль на боевой... Понял?

Андрей даже попятился назад.

— У-у-у! Стерва! Вот, ты на что метишь! Думаешь, меня угробишь, Гильда твоей будет?! Нет, брат, ты раньше губу залатай, а потом и харей с кем-нибудь сменяйся...

— Гильда?!— подымая брови и выпячивая нижнюю челюсть переспросил Сомов и как-то дико, каркаяще захохотал.

Андрей торопливо забегал по теплушке, а потом неожиданно махнул рукой:

— Ладно, тусуй, стерва!.. Только помни: Гильды моей, как ушей без зеркала, тебе не увидеть. Холуй ты, если думаешь, что твоей будет.

Закусил Андрей нижнюю губу до крови, так и проступила у подбородка в двух местах. Задрожали чуть пальцы, когда стал карты брать. Затянулся покруче папиросной, ругнулся тяжелой, как булыжник, бранью, стал играть. Обдумывая, чем пойти, Андрей для бодрости что-то напевал сквозь зубы, нервно, не в такт напевам, постукивал ногой и все время не спускал глаз с колоды.

Сомов играл молча, настороженно насупившись. Все его туловище было напряжено и сжато, ступни босых ног, казалось, впивались в половицы. Голова его, вобранная в плечи, когда он проглядывал свои карты, двигалась медленно с остановками, словно сидела на несмазанном ржавом шарнире.

Проиграл Андрей...

Тишина настала... Ух!.. Слышно стало, как затикали андюшкины проигранные часы.

Сорвал Андрей с головы фуражку, рванул высокую прядь белокурых кудрей... Поглядел на них и бросил на земь...

Я остолбенел от ожидания чего-то страшного, что неминуемо должно было произойти. Язык отнялся. Молчали все.

Сомов, сжавшись еще больше и согнув шею, пряча бегающие, злорадные огоньки, глядел на всех исподлобья, чувствуя, что ненависть к нему растет, и что для него конец здесь может быть скверным.

Фома Пацюк, балтиец с узловатыми руками и короткой шеей, расставил пошире ноги и грузней опустился на них, подавшись всем туловищем вперед. Его налившее кровью лицо было страшно.

— Смерть не наследство, от нее не откажешься...— грудным, словно очищенным голосом вдруг заговорил, подбадриваясь, Калтыгин, тыча Мишке Финикову наган,— на-ка, Финик, вытащи три патрона кряду.

— Не-ет... Не буду,— мотнул Фиников головой,— я в таком деле не участник. Братва!— вдруг закричал он, неизвестно к кому обращаясь,— рази допустим!— Фиников ударил по столу и бросился к Андрею.— Это, чтобы, из-за карты человека угробишь... Андюшку?!.. Андюшку угробишь?..

— А уговор на что?!— вопил, как бык, слепой от ярости, Сомов.

Фома Пацюк, грозя пудовыми кулаками, вдруг надвинулся своим непомерно большим огромным телом на Ваську Сомова и орал ему прямо в ухо:

— Вертай ему усе!.. Вертай, кажу... Вертай, рвана губа!.. Чуешь, вертай, кажу... Вертай, бо-ей-бо, убыю!.. Вертай!!!

Сомов, бессмысленно поводя глазами, сисясь что-то ответить, отступал от него, отодвигаясь в угол.

Андрей тем временем торопливо выбросил из полного заряженного нагана три патрона, отвел

курок, ударил по барабану рукой, и завертелся барабан.

— У-у-ух, Васька, харю рассуроплю, если себе кумпол не пробью... — и не договорил Андрей, поднял наган дулом к виску... нажал собачку...

Фиников кинулся к нему, но было поздно.

Я закричал от нестерпимой боли...

Раздался сухой треск...

Боек опустился на пустое место барабана...

Андрей был цел и невредим...

Кто-то открыл одним рывком тяжелую дверь теллушки. Я прыгнул наземь и побежал прочь...

Острый ветер ударил в лицо мне крепкой своей свежестью, заиграл и спутал мои волосы, бодрящими струями своими остудил голову, разгоряченную и опухшую.

Полной грудью, жадными глотками, ловил я воздух, не отравленный копотью и дымом, не загрязненный застоявшимся дыханьем нечистоплотных людей.

ВТОРАЯ

В бою под Летками нас разбили на голову и вдребезги.

Наш батальон окружили гайдамаки, отрезали путь к отступлению. Мы не ждали нападения, и когда впереди, с холма, покрытого мелколесьем, заговорили пулеметы и ударили три дружных залпа... — мы сбились в кучу второлях, и этим усилили замешательство и панику.

Наш отряд стал хорошей мишенью... Враг учел все выгоды стрельбы наверняка.

И когда мы рассыпались цепью и стали, отстреливаясь, отступать — было уже поздно... Многих бойцов

уже скосили пули и многие ранеными бились, трепетали на земле.

Молодой красавец матрос Тимохин, раненый в обе ноги, пристрелил корчившегося рядом с ним латыша Гулбиса... и вторую пулю вогнал в собственный висок.

Отрядам войск ВЧК на Украине не было пощады. Смерть в бою или от своей руки была легче казни и пыток во вражьих...

Мы хорошо помнили трупы наших товарищей со вспоротыми животами, начиненными, как пироги, овсом или рожью, с вырезанными живьем крестами на спинах и звездами на лбу.

Средь нас не было ни одного природного украинца и было много русских, евреев, латышей и китайцев. Никто не мог надеяться на жизнь, в случае сдачи в плен. Всем одинаково грозила смерть, мучительная и медленная...

Это удесятерило наши силы.

И когда с разбойничьим гиканьем и присвистом, беспорядочно стреляя и дико вопя, на нас бросилась татарской ордой гайдамацкая конница — мы многих уложили прежде, чем сами бросились бежать.

Со многих коней были сбиты седоки, и много коней и кобылиц в тот день в последний раз пили воду.

До леса было с версту... В лесу кавалерийские атаки пехоте не страшны.

Вражьи пулеметы смолкли, чтобы не стрелять по своим. Зато успели затараторить наши.

Комбат Белов, из питерских рабочих, командовавший отрядом и шедший в цепи рядом со мной, вдруг поднялся во весь рост. Страшным голосом, покрывшим стрельбу и вражий гик и топот, гаркнул:



— Цепью, к лесу!.. в порядке... Пулеметчики, все номера на месте!.. Огнем опрокинуть!..

Но не договорил комбат и рухнул...

Паника режущим криком «Спасайся, братва! Убили командира!» — носилась по полю.

Мы, разбитой стайей, россыпью кинулись к лесу.

Пулеметчики бросили пулеметы.

Пули нагоняли бегущих. Плавким жгучим металлом вонзались в затылок. Буравили черепа. Вырывали жизнь в корчах и судорогах.

Лес был близко... Но уже вражьи кони дышали в спину.

За нашим военкомом, длинным худощавым евреем с шевелюрой огненно-красной, гналось двое конных, орало:

— Калечь жида-а!..

И сбросила гайдацкая шашка рыжую голову с плеч.

И за мной уже скакал всадник с оселедцем.

Ушла в плечи, с'ежилась голова, предчувствуя удар. Потонуло сердце в страхе.

Спасла меня моя граната.

Опрокинула лошадь на спину, вырвала кишки из брюха. И разбрызгала седока кровавыми обглодками по развороченной жирной земле...

Лес был в десяти саженьях... Я его достиг, спасая, как заяц, ногами свою жизнь...

Я был один на вражьей земле, бежал, не зная ни дорог, ни тропинок, к своим. В ушах увязли предсмертные крики товарищей. Сердце, напоенное тревогой, топотало быстро, быстро.

Сумерки нагнали меня, бежавшего все вперед в одном направлении, так чтобы солнце было за спиной.

Вскоре ночь густая, темная сменила вечер.

Я забрался в заросли орешника, неподалеку от узкой колеи лесного проселка. Ноги, налитые усталю многоверстного пути, ныли и просили, требовали сна. Ухо настороженно вслушивалось, ловило каждый звук, каждый шорох. Рука цепко сжимала винтовку.

А патронов было всего два.

Только два.

И от этого злее, гуще лизала думы безнадежность.

В лесу было жутко тихо. Слышно было, как стучала в сердце кровь. Я лег и закурил, пряча под полую огонек «козьей ножки».

* * *

Я проснулся от шума чьих-то шагов.

Ухо сразу учуяло одного пешехода.

Один на один, да я еще в засаде, сила, ясно, на моей стороне.

Мозг коротко приказал руке и глазу:

— Если враг вооружен — ухлопать на месте — будут патроны. Если недруг безоружен — пропустить, не шелохнувшись.

Пешеход приближался. Чьи-то ноги тяжело ступали казалось, под самым ухом.

Предрассветный сумрак опутывал мглой... Темная фигура, с винтовкой за плечом, показалась напротив.

Я рывком поднялся на ноги. Хрустнула ветка. Фигура на секунду застыла.

— Ни с места!.. Убью!.. — заорал я, лязгнув затвором.

— Не стреляй, чортов шкет, — завопил человек пригибаясь.

Но было поздно... Палец сам собой нажал курок. Я успел только инстинктивно дернуть дуло кверху.

Пуля срезала ветку, и она упала к ногам Андрея Калтыгина — командира первой роты нашего батальона.

— О-от, дурашлеп!.. Стрелять, какой мастак нашелся!.. Трижды... твою в гроб, дурака, мать... Тебя за это, стерву, шлепнуть мало, — кричал мне в самое ухо шипящим шолотом Калтыгин, крепко, с мясом, хватив мою шинель у груди.

— Я... я... товарищ командир... — твердили мои губы, нелепо повторяя слова. Я стоял, судорожно охватив руками его сжатый кулак и глядел на него расширенными зрачками выпученных глаз. — Я... я... товарищ командир...

— Ж... ты, а не товарищ командир... Теперь небось гляделки тарачишь, а раньше, где они у тебя были, в кармане держал?... Шутка сказать, не разглядя, в своих биты!.. Жлоб ты, сукин сын... Мало, выходит, наших и так полегло...

— А спички-то хоть есть у тебя? — немного спустя, остывающим от горячей злобы голосом, спросил Андрей.

— Есть, ей-богу, есть!

Андрей почти сутки не курил и сразу присосался к толстой, наслех свернутой цыгарке. Он тянул дым торопясь и жадно, как младенец молоко запоздавшей с кормлением матери.

И дальше мы зашагали вместе.

Он широкогрудый, мускулистый и синеглазый, чуть прихрамывающий, но так легко и едва заметно, что казалось, будто он хромает не от какого-нибудь дефекта, а от того, что так ему ловчей ступать. Во всей его крепкой фигуре чувствовалась спокойная уверенность в собственной силе и настороженность, идущая не от страха, а от умения учуять опасность. И я — быстрый в движениях, торопливый в речи и походке —

мальчишка с задорным лицом и худым подвижным телом.

Он в клеше, в кожанке, со вспоротым рукавом и в матросской бескозырке, с той же надписью белым по черной ленте: „Анархист“. Я без фуражки, утерянной в бегстве, в длинной не по плечу и не по росту шинели портяночного сукна. Шинели образца 1919 года, изодранной встречными сучьями и забрызганной до пояса грязью. Одна пола ее была прострелена в последней битве. И этим маленьким прожженным отверстием я гордился так, как гордится инвалид орденами.

Мы шли рядом.

Товарищ в бегстве уменьшит страх, гонит в шею трусость, крепит бодрость и надежду.

К вечеру, сделав два крюка в обход встречным селам, мы принесли в комендатуру печальную весть о разгроме.

* * *

Я кавалерист деревянный — меня трясло в седле, как воду в ведре неопытного водоноса.

На том пакете, что я вез, надпись была скорая:

Аллюр + + + (3 креста)

Бликие сумерки и кресты при аллюре служили хорошей погонялкой, а Украина в те времена кишела бандитами, как колтун вшами. Одиноким гонцам, в особенности ночью, приходилось круто.

Я не уставал подстегивать, торопить утомленный бег исхудалого голодного коня. Шпор у меня не было да и владеть я ими не мог. Шомпол заменял их с успехом, хлестал пуще казацкой нагайки. Лошадь привычно обмахивала хвостом ушибленное место, покорно прибавляя ход.

Винтовка набила мне спину. Верховая езда с не привычки измучила в конец. Я, как сварливая старуха, мучил себя попреками.— И верно, зачем я сдуру уверил коменданта, что к верховой езде привычен, мне и до сих пор нивмоготу понять. Разве только, что из-за мальчишеской дерзости или может, от того, что уж очень хотелось мне еще раз увидеть Андрея.

К околице я под'езжал опасно, держа наган в руке и гранату у пояса со спущенным предохранителем.

Командир, посылая, предупреждал:

— В случае чего, пакет похеришь, уж сам, как знаешь, хоть сожри, только чтоб бандитю не достался. А нет, и тебе каюк и нам вата... Понял?! Оттого-то тебя и посылаю, что хоть молод, да увертлив... Коль с под Леток притопал, так и теперь не пропадешь... Только ты у меня, сукин сын, глазами зыркай, ворон не лови!.. Понял?!

Лошадь вязла в грязи. Хлюпала и чавкала под копытами жижа. Деревенские мальцы гурьбой шли за моим конем, исподлобья, хмуро глядели мне в спину. Из их не по-детски насупленных глаз сквозило любопытство пополам с отцовской внушенной злобой.

У церковной площади я встретил мне знакомого красноармейца Самарского. Это был большой балагур и шутник, искусный мастер говорить да рассказывать. Его у нас метко прозвали „Звони-Колокол“.

— Куда шпаришь, Мишка? Не на коне, браток, а на заборе верхом тебе ездить... Зад-то, небось, опух?..

— Брось звонить... К вашему комроту с пакетом от коменданта...

— К Калтыгину?.. Давай провожу — мы с ним в одной хате стоим... Из братишек комрот-то у нас, не чета прежнему... Рубаха парень!

Калтыгин встретил меня дружескими шлепками по плечу.

— Дострелить припер, коли раз промазал...— пошутил он, весело посмеиваясь.— С пакетом, говоришь? Ну, вытаскивай! Ишь ты, какого большака прислали! Помельче видать не нашлось! Ну, что ж, хоть и мал посланец, а все же вестник... Хозяйка, пригони-ка мальцу пошамать, скумекай там чего-нибудь горяченького, вишь, зубами парень ляскает...

— Раз зубами ляскает, значит, кишка кишке рапорт подает и в пузе транспорт без нагрузу ходит,— вставил и свое словцо Самарский.

Андрей читал привезенное распоряжение коменданта, а я прожорливо чавкая от'едался вкуснейшим борщом... Хозяйка стояла подле, оправляя волосы под чепец, участливо расспрашивала:— добровольно иль по набору я пошел, есть ли у меня отец с матерью, зачем такой молоденький в добровольцы записался и на кого ж я мать, уйдя, покинул — и много еще других таких обычных и таких всегда дорогих и излюбленных бабьим сердцем вопросов.

* * *

В избе полутемно... Мигает, нерво вздрагивая, огонек „моргунца“. Накурено и душно. Мигнет моргунец, отблеск пламени скользко пробежит по лицам, мигнет, оправится и снова на секунду засветит мягко и едва колыхаясь.

Андрюшка, склонив голову на бок и даже высунув кончик языка от натуги, старательно переписывает ответный рапорт коменданту. Попишет, напишет Андрей, потом вдруг поднимет голову, запустит руку в

золотистые пряди кудрей — задумается. И хмурится тогда лицо его, простое и ясное.

Самарский сидит напротив Андрея. Привычно и искусно щелкает вшей на снятой для сего случая рубашке. Отыскав вошь, он зажимал ее кончиком ногтей двух своих больших пальцев и с треском давил ее, обязательно щелкнув зубами. Когда зубы щелкали, лицо его принимало хищное выражение и двигались все мускулы щек.

Я лежал на горячей лежанке рядом с ласковым, уютно мурлыкавшим котом, задумчиво глядел то на Андрея, то на быстрые пальцы Самарского, то на хозяина избы, чинившего в сторонке хомут. Кот был весь черный и только усы и брови его топорщились белым жестким волосом. Рука моя произвольно, сама по себе, гладила его спину. Коту это нравилось и он каждый раз сам подставлял голову, жмурил круглые глаза и мурлыкал все музыкальней и громче...

В избе тепло и тихо... Слышно было, как шуршали тараканы за бумагой, наклеенной на стене.

Я задремал...

Ужасающий грохот, неожиданно и вдруг, громами и молниями обрушился на меня и мгновенно вырвал из сна.

Я рывком поднялся на локтях.

На миг остановилось сердце и застыла кровь...

Кто-то бросил гранату в избу.

Посреди обломков стен пылали щепы от стола и разрушенных упавших икон.

Самарский, освещенный диким, прыгающим пламенем пожара, сидел обезглавленный, с туловищем, как мешок, прислоненным к стене. Из развороченной шеи хлестала кровь на голые плечи и грудь, на рубашку,

лежавшую на его коленях, на пальцы, так и застывшие в поисках вшей...

Жутко издыхающе мяукал кот на двух передних лапах, волоча изуродованный кровавый зад...

Мелькнула в дверях спина Андрея и рука его, судорожно копавшаяся в кобуре.

Я бросился вслед за ним и упал, не сделав и шага. Упал на теплый мокрый труп хозяина. В колене моей левой ноги застряло что-то жгучее, раскаленное, плавившее мясо, буравившее кость...

В голове громыхая ужасом пронеслось:

— Про-па-ал!

— А я?! — завопил я чужим голосом, полным животного страха за жизнь.

Отозвались выстрелы, крики.

— Ма-а-ты! — предсмертным воплем сраженного прапредка, донесся с улицы чей-то дикий, последний крик.

Я полз на локтях и на одном колене к дверям, волоча, как труп, тяжелую, раненую ногу и цепко сжав наган в руке.

Прошла долгая длинная минута.

Я выполз в сени и уже дополз до крыльца.

На двор вытащил меня Андрей.

— Живой?! И наган прешь?.. В ногу, говоришь?!

На дворе было еще четверо красноармейцев. Двое в нижнем белье и один в одном сапоге и с другим подмышкой, тащили за собой пулемет. Еще двое вытаскивали из соседней избы пулеметные ящики.

У ворот валялся труп украинца, сраженного пулей.

С другого конца села донеслась сильная беспорядочная стрельба.

В соседнем переулке палили из обрезов.

Андрюшка, отвязывая коня, на котором я приехал, приказал хозяйскому сыну запрягать в телегу отцовскую лошадь.

— Да, як це ж так... Батька ж убили и хата горыть... Боже ж мий... Дозвольте ж хоть батька в послідний раз побачить! — умолял задыхающимся трудным голосом парень, молитвенно складывая руки и пытаясь упасть на колени.

— Запрягай говорю, сучий сын!.. Жи-ве-ей! — надрывался Андрей, тыча ему в нос наганом с полувзведенным курком.

И парень с танцующими зубами и дрожащей челюстью запрягал.

Мать его, истошно причитая и вопя, вытаскивала за ноги труп хозяина из горящей избы.

— Роба! Тащи вторую подводу! Быстра-а! — набросился Андрей на красноармейцев, наспех одевавшихся тут же на дворе.

Двое из них, жестоко и сочно ругнувшись на ходу, опрометью бросились в соседний двор исполнять приказ командира.

— Максимку по-вашему на плечах тащить, что ль? — крикнул им вслед Калтыгин.

С огорода, что был за избой, неожиданно на нас посыпались пули. Оттуда пушечными выстрелами ухали обрэзы.

— Стрельба пачками... Не бежать! — заорал Андрей, прикладывая к плечу свой меткий японский карабин.

Десятка два выстрелов с нашей стороны заставили умолкнуть врагов с огорода.

Зато ожесточенней, ближе и страшней становилась перестрелка на другом конце села.

— Зажигай, братва, крыши соседних изб, — прямо головнями с нашей хаты... Тушить заставим — догонять не будут! — приказал Андрей, ухватив меня поперек туловища и бросив в телегу.

Мы выезжали на двух подводах.

Нас было семеро, считая Андрея, ехавшего верхом на моей лошади, да я раненый, не входивший в счет. Еще трое, прорвавшиеся с другого конца села, верхом на крестьянских лошадях, к нам пристали по дороге.

Нешадно стегая лошадей, матершина и отстреливаясь, мы выбрались к околице.

Сзади в черном дыму полыхали избы, сзади выли бабы.

Огромный разъяренный пес, с обрывком веревки на шее, остервенело кидался на наших коней. Я разрядил в него наган, потому что горло мне тискало бесильная злоба и боязнь, что мы не уйдем. Я вогнал в собаку четыре пули от того, что палец сам собой тянулся к курку, а я был ранен, и лежа не мог стрелять в погоню.

Пес упал... и в кровавой пене собачьих губ все еще издыхающе клокотала ярость...

За нашими плечами гнала коней погоня.

Три десятка всадников бросились нам на-перерез. Лошадь той подводы, на которой везли меня, подстрелили и она упала в оглоблях.

Бойцы соскочили, бросив меня, и кинулись, кто в сторону — в лес, а кто — пересаживаться на вторую телегу.

Меня снова спас Андрей. Не слезая с коня, он подхватил меня и бросил прямо на спину возницы второй подводы.

Отстреливаясь, Андрей успел еще пристрелить бившуюся в оглоблях лошадь — „чтоб даром не мучился конь“.

Задержка стоила жизни троим из нас — одного пуля скосила прямо с телеги, а двух других, пытавшихся в одиночку спасти свою шкуру бегством в сторону, а не напрямик, как дули мы — расстреляла погоня на наших глазах.

Поэтому и на одной телеге нам не было тесно.

Через три часа на загнанных конях мы прибыли в комендатуру.

Под Андреем Калтыгиным убили мою кобылу, но он сам не получил и царапины.

— Я от пули слово знаю... Они от меня, что горох от стены,— скалил белые крупные зубы Андрей, когда говорил о боях, в которых участвовал.

Из семи вернувшихся четверо были ранены, один безнадежно пулей с обреза в живот, и трое коней из шести были перебиты в пути.

Один из красноармейцев, огромный сибиряк Шагуров, бережно снес меня на руках в избу, где помещался наш походный госпиталь. Это был крепкий, ладно скроенный детина, выше сажени ростом, со спиной, на которой я свободно мог бы выспаться.

Он положил меня на пол, на разостланную мою же шинель.

Молодой лекпом с очками на тонком переносье, ловко разрезав обмотки и штанину на моей левой ноге, обнажил рану.

Он ковырялся в ней, близоруко всматриваясь, а Шагуров, помогая ему, крепко держал меня за ногу и тяжело сопел.

Лекпом ковырялся в моем колене неумело и долго, причиняя нестерпимую боль. пока, наконец, не вытащил осколок гранаты.

— Ну сами видите!— сказал он мне с сильным еврейским акцентом, показывая на своей ладони осколок...— И ничего-таки страшного нет — кость цела!

Со стола, где доктор возился с тяжело-раненым, неслись крики нестерпимых мучений.

* * *

Через две недели я уже был на ногах.

Приказом по комендатуре, Андрей Калтыгин был назначен помощником коменданта, а я — адъютантом — сотрудником особых поручений.

Я был несказанно горд моим назначением, как мальчишка, впервые надевший длинные штаны. И только насмешки калечили свежую радость гордых дней. Меня ежечасно корили молодостью и малолетством.

— От земли не видать, а уже в комиссарах ходит. По ночам еще под себя мочится, а днем, поди, поговори — начальство!

Крепка мальчишеская привязанность. Я очень дорожил дружбой и покровительством Андрея.

Жили мы вдвоем с ним на одной квартире у вдовы волостного писаря Весны. Это была худая коротенькая женщина с желтым морщинистым лицом и очень маленькими злыми глазками цвета мутной воды. Целый день она неугомонно придирчиво трещала и голое ее был резок, как звонок трамвая.

И у этой писаревской вдовы, со странной фамилией Весна, была действительно какая-то весенняя дочь. Что-то радостное и манящее было в веселом ру-

мянце лелиных щек, в глазах маленьких, живых и юрких, в пухленькой верхней губе, во рту ее, полном белых блестящих зубов.

Андрюшка, бывало, говорил про нее:

— Сдобный бабец... Мяса много...

И когда, неприятно прищутив глаз и как-то совсем по-чужому, не по-андреевски хихикнув, он начинал не печатно и гадко говорить о качествах Лели как самки, мне становилось противно слушать и не хватало сил сказать, что так нельзя, что это грязно...

— Зачем,—я спрашивал себя,—почему, когда Андрей приходит, она хохочет раскатистой и звонче, зачем сидит, расставив ноги, для чего, когда ходит, колышет бедрами?

Однажды, исполнив данное мне боевое задание на целую ночь раньше срока, я возвратился домой.

В избе уже было полутемно, светила только лампадка у образов, но дверь была еще отперта.

Я влетел пулей, запыхавшись, как бегун, у самого финиша потерпевший поражение.

На кровати, в обнимку, тесно друг к другу прижавшись, лежали Андрей и хозяйская дочь Леля. Андрей вскочил разъяренный, вспотевший и красный. Кинулся на меня, не зная, что сказать от гнева. Хозяйская дочь, зарывшись головой в подушку, проворными, слепыми пальцами суетливо силилась исправить непорядок в платье.

Я убежал, и только утром встретился с Андреем.

* * *

Через неделю я был послан в командировку.

В мандате значилось:

«...в том, что он командирован в штаб КВО по делам секретного военно-оперативного характера.

...представляется право на пути следования пользоваться вне всякой очереди всеми видами транспорта гужевого и железнодорожного, а также всеми средствами связи вплоть до телеграфа...»

Перед отъездом Андрей, дежуривший в ту ночь в комендатуре, передал мне один пакет.

— Угол Меринговской и Николаевской. Домина, брат, царская. Моя краля там тебя и спать уложит. Только ты у меня, брат, гляди! Я в твои годы уж дела этого отведал—ребра ломать буду в случае чего... А девчонка она ласковая, приветливая—бабец, что надо, кругом шестнадцать.—Андрей даже губу прикусил от удовольствия,—хороша, бой-девка, одно слово.

— Передай ей, Мишка, от меня большой привет. Скажи, что люблю я ее пуще прежнего и никаких, мол, баб при мне теперь нет. Скажи ей, что, мол, все думки у Андрюшки с зазубринкой и зазубринка эта от вас, мол, идет, Гильда Ивановна, так и скажи! И еще скажи, чтоб карточку свою прислала. Ну, а еще там, чего-нибудь сам от себя прифасонь... Только о хозяйской Лельке,—а ни слова, слышь, Гильде об этом случае не будем... Плохо будет,—всей дружбе конец. Пополам разорву и всю харю вдребезги. Изуродую хуже снаряда.

К Гильде я пришел поздно. Времена были смутные—не доверяли люди темени. Загоняла ночь обывателя в свой двор, под свою крышу, темь и страх отсиживать, ожидать трусливого обыска.

Шел я пустыми улицами. Шаги мостовая отдавала гулко—кашлянешь, и слышно за квартал.

Я долго, очень долго стучался...

Не открывали и никто не отзывался.

— Кто тут?—наконец, ответил мне густой, гудящий голос.

— Мне к товарищ Гильде Цельм.

— До кого?! Кого треба?!

— Товарищ Гильду Цельм.

— Цельму?!

— Да.

— А яка квартира?

— Десятая.

— Десятая?!—переспросил меня тот же голос с таким удивлением, как-будто я огорошил его чем-то невероятным.

— Да, говорю ж, десятая!

— Эге ж, и я кажу, десятая. Зараз схожу, спытаю...

Через полминуты тот же медлительный безразличный голос спросил:

— А ты сам кто такой будешь? Як казать?

— Скажи, что от Андрея Калтыгина. Только быстрее, говорю,—чорт бы тебя подрал!

— Швыдче, кажешь? Можно и швыдче.

Слышно было, как кто-то грузно ступал по лестнице, медленно, словно приступом, одолевал каждую ступеньку.

Я стоял и нервничал в нетерпеливом ожиданьи. Решил считать до ста. На восьмидесяти сбился... Начал сначала и досчитал до двухсот. Никто не открывал... Я ожесточенно забарабанил каблуками в дверь, с каждым разом усиливая удар.

Наконец, откуда-то сверху гулко раздалось:

— Иду-у... зараз... от лиха годына!..

Мелко, топотливо сбежали по лестнице чьи-то легкие, быстрые ноги. Грудной, певучий голос, волнуясь, спросил:

— Андрейка, ты?!

— Нет, это я только письмо от Андрея... А сам я его товарищ. Ад'ютант из комендатуры... Мы с ним вместе на одной квартире стоим...

Хорошо мне было у Гильды.

Маленькая комната, светлая и чистая, как-то удивительно напоминала хозяйку, такую же свеженькую, ясную блондинку с подрезанными волосами — густыми и мягкими.

На столе, покрытом газетой, рядом с букетом цветов в стакане лежала кобура с браунингом и стопочка аккуратно сложенных книг в уголку.

Одна лежала раскрытой:

«Азбука коммунизма» — Бухарина.

В комнате было еще два стула и кровать, застланная больничным, тощим одеялом. На стене висел портрет Троцкого, Бухарина и Калинина, сидевших вместе и озабоченно вглядывавшихся в карту военных фронтов. В углу за дверью, на двух вбитых гвоздях висели две кофточки, юбка, большой платок и военная кавалерийская шинель.

И это все. Вся мебель и одежда. Я ничего не забыл.

Мы, беседуя, пили чай с сахарином — я из котелка, она из блюдечка — стаканов не было — все время говорили об Андрее. И в каждом слове Гильды, и в каждом вопросе, в ее интересе к мелочам чувствовалась большая неумемная любовь к Андрею. А мне было стыдно за него, стыдно до обиды.

Наговорившись вдосталь, поздно ночью мы легли спать. Я лег на полу, подстлав свою шинель и укрывшись гильдиной. Засыпая, я много думал о счастье Андрея, о том, как счастлив должен он быть от любви

такой ясной девушки, от любви такой Гильды, и еще о том, что он ее совсем и совершенно недостойн.

Проснувшись, я увидел Гильду, перечитывавшую (в какой же это раз?) письмо Андрея. Стыдливо покраснев, она сунула его в книгу и отвернулась к окну.

Около меня на стуле, поверх моих брюк, лежала подаренная мне Андреем матроска — свежая, только что вымытая, еще теплая от утюга.

Это Гильда ночью отстирывала ее замусоленные рукава, возвращала природный цвет грязному заношенному полотну.

Это Гильда, когда я еще непробудно спал и видел самые сладкие утренние сны, уже встала, чтобы утюжить и гладить ее.

Гильда! Гильда! Большую душу надо иметь, чтобы уметь невзначай сделать так, как другому любо. Женскую щедрую душу надо иметь, чтобы внимание и участие твое было легко и просто, как улыбка.

Обратно в комендатуру я прибыл ночью. Торопливо сдал привезенные пакеты, заспешил к Андрею отдать Гильдино ответное письмо.

Андрей несказанно обрадовался. Таким радостным я его еще не видел ни разу. Прочитав письмо быстрыми, жадными глазами, он от радости крепко стиснул себе ладони, потом, запустив пальцы в свои спутанные кудри, он сделал несколько быстрых прыжков по комнате, к великому недоумению часового.

Я глядел на него непонимающими глазами.

По дороге домой, как-то виновато улыбнувшись, Андрей заговорил:

— Распутный я парень, Михайло. Насчет бабьей музыки нет у меня твердости... И ведь верно знаю — люблю я Гильду. И до чего я люблю!.. Чорт знает!

Если бы узнал, что она с кем-нибудь спуталась, убил бы! А вот сам — не могу. Если бабец из себя ничего, буфера и вообще есть за что подержаться, меня и магнитит на нее. Нет, Михайло, у меня вся природа такая — уж не переделаешь. Отец у меня сукин сын был в этом деле, а я еще папашке форы дам, очков на десять вперед.

* * *

Андрюшка дежурил в комендатуре, а я пришел к нему, потому что одному мне было скучно.

Была ночь и темень за окном была густа.

Крепчал ветер. Беззвездное небо черными тяжелыми попонами нависало над холодной, остывшей землей.

Ночь обещала быть спокойной. Трубка полевого телефона лежала неподвижно. Казалось, что и она устала от тревожных настойчивых звонков.

Андрей, сутуля могучие плечи и копаясь рукой в волосах, читал свою заповедную книгу: «Мировая Скорбь» Себастьяна Фора.

— Это, брат, мне один настоящий анархист подарил. Его потом повесили. Велик человек был. Фамилии ему никто не знал. «Дядя Ваня» — и вся недолга. Так без фамилии и повесили за то, что он видишь ли, адмиралешку, стерву одну, ухлопал среди бела дня.

Содержание этой книги уже давно ушло, простилось с моей памятью. От той ночи только и запомнилось — Андрей, торжественно читавший простые слова любимой книги, суждение его о ней, мечты его о науке.

— Большая книга — по ней жить можно, — говорил Андрей, осторожно перелистывая истлевшие уголки страниц старенького потрепанного тома, в дни своей

юности изведавшего таинственную сладость подпольных читок. — Правды в ней много, кровью, видать, человек писал. Свой горб надо было прежде до пузырей намозолить, чтоб о чужих мозолях так с сердцем говорить. Нет, и не говори, Мишка, с чужого слова правды не напишешь, свое надо знать, самому кровь надо видеть, самому слезу учуять! Название одно чего стоит? За нутро берет, за живую жилу тянет! Мировая Скорбь. — Мир скорбит — понимаешь, Мишка. — вот что!.. Значит, дальше жить так нельзя, — громить, рушить надо. Теперь добрались, брат, до революции, — из зубов, шутишь, не вытянешь — свою войну воюем — за наше дело бой идет...

— И сколько книг, должно быть, верных есть, не сочтешь, поди... — в раздумьи, заговорил погодя Андрей. — А от нас они до сих пор скрыты были, и где их искать — неведомо. А книга, брат, великое дело — как скребком мозги продирает, до блеска трет, чистит. Вот Гильда — та другое дело — как свободна, так за книгу. Я второй год с ней путаюсь — на дрожжах растет, умнеет вижу баба. И мы с тобой, как кончим драку, как раздавим к ногтю беляков, так учиться пойдем. Беспременно пойдем — у меня охота великая.

— Нет, Михайла, — кончится завирюха, хоть ты кол мне на голове теши — другого дела знать не пожелаю — даешь ученье и никаких гвоздей. Здорово, парень, надо, и охота к тому же. Главное, другим человеком стать можно, самого себя перерастить. Только навряд все это, ведь со всем миром царапаться придется.

И потом снова говорил Андрей о книге:

— Мировая Скорбь, хорошее, брат, слово, — веское, тяжелое слово — прямо на душу каплет. Мировой плач, к примеру, не годится. Скорбь — вот это, брат, слово,

прямо с сердцем говорит. И у каждого из нас хоть капля этой скорби имеется, и пока мы все это к чорту вверх тормашками не перевернем, пока всю погань не распатроним, до тех пор весь мир скорбеть будет, не иначе. Так что, сам бери вдомек, одной Россией дело не обойдется, и Америку и Англию придется сколупнуть, а нет, — Мировая Скорбь останется.

Так говорил Андрей один раз за всю нашу недолгую совместную жизнь. Кажется, просты слова и нет в них мудрости, а хранит их моя память бережливо. Хранит свято, как воспоминание об умершей в детстве матери.

* * *

Через три дня после нашей ночной беседы Андрей, раненый в деле под Голополем, был отправлен в город Киев, в госпиталь.

Утром, сумрачным и дождливым, увозили подводы раненых, а меня комендант не назначил в сопроводительный отряд. Просьбы не помогли.

Дома меня встретила хозяйская дочь Леля с опухшими от слез глазами, с лицом, измятым горем и усталым от ночи, проведенной без сна.

Мне стало тягостно и я заспешил уйти.

Небо, отягченное черными тучами, было низко. Большие и крупные падали первые капли дождя.

ПОСЛЕДНЯЯ

Я снова встретился с Андреем. Случайность в дружбе, в любви и перестрелке много иной раз творит.

И поныне до боли остро мне памятен день тот — осенний и ветренный день последней встречи.

Ирпенская группа красных остервенело сражалась в тылу у Деникина, как израненный, голодный волк, окруженный сворой, в стальном кольце отлично вооруженных сытых войск.

Особой метой в летописях мятежных дней будет отмечен Девятьсот Девятнадцатый год — третий год Октября — третий год Коммуны. Один вслед другому проходили ратниками дни, громяхая обозом поражений.

Тяжела была ноша битв и отступлений. Победно колыхались знамена врага.

Каждый день падали, умирали бойцы в бою и на стоянках от пуль, ран и сыпняка. Украшали медалями могил и трупов чахлую грудь Ирпенских болот. Командиры теряли счет людям и ранам, твердо знали счет снарядов и патронов.

Нас осталось мало. Мобилизованные разбежались по домам — с самого начала. Трусы отдались в плен на милость беляков. Разная погань и мразь переменяла знамена, сменяла революцию на английскую шинель, водку и право грабежа. Остались только стойкие в мыслях и борьбе — красные помыслом и делом.

И мы — те что остались — знали хорошо и твердо: Революция в опасности, но белякам, золотопогонникам Советскую власть не угробить, не изжить. Пусть пьяно бахвалится победами враг, все равно, разбитая и израненная Красная армия победит сытое воинство Белой России. Подытожит победами свой собственный счет бегств и поражений.

Мы знали, что придет и на нашу сторону праздник. И мы его ждали.

Нетерпеливо, беспокойно ждали хороших вестей, терпеливо щелкая вшей и потуже подтягивая животы.

Храбрость от отчаяния бывает выше храбрости уверенной силы. Ирпенская группа красных совершила свой дерзостный путь.

Мы на один день вырвали у деникинцев Киев. Успели за три часа выпустить Красную Газету Революции, полную проклятий врагам, зовов к борьбе и уверенности в нашей скорой победе.

И там, у типографии, к нашему маленькому отряду пристал Андрей, отбившийся от своего. Он пошел с нами вместе, плечо к плечу, рядовым красноармейцем.

Мы встретились с ним радостно и солнечно. Обнялись, поцеловались трижды. Он меня потряс, похлопал по плечу.

— Ну, вишь, и встретились, браток! Наша масть живучая. Значит, теперь опять с офицерем царапаться на пару. Ничего, дело веселое, вдвоем сподручней... Дай-ка махтерочки, на радостях свернем, запалим, чтоб дома не журились.

Я был рад Андрею, не знал, что делать. От счастья скакал и прыгал молодым бычком.

— Опять козой скачешь, — улыбнувшись, попробовал сурово одернуть обросший щетиной командир. — Живой, холера, парень, — добавил он Андрею.

Немного погодя Андрюшка цепко, больно ухватил меня за руку повыше локтя, сказал, нагибаясь к уху:

— А у меня, Мишка, Гильду шлепнули...

— Что-о?!

— Гильду, говорю, деникинцы расстреляли...

— Как же так?!

— А вот так... Неделью тому назад... взяли да и шлепнули... как чекистку...

Трудно было говорить Андрею. Не так, не теми словами хотел он сказать.

Ой, не так...

А как сказать иначе, если нежность, если скорбь надо стыдно прятать внутри. — Если тоску и печаль дни заставили менять на упорство...

Выхода не было... Приходилось отступать.

Мы шли оборванные, грязные, злые от собственного бессилия, от того, что надо было снова отдать взятую кровью добычу.

Евреи кучками жались у ворот. Боязливо провожали нас взглядами, хоронившими печаль обреченности.

Ждали грабежей и погрома...

На Подоле укреплялись подворотни. Заколачивались наглухо парадные, обивались жестью ворота, в калитках прорезывались глазки, ставились новые запоры. Поверх ворот набивались доски, усыпанные гвоздями острием наружу, обмотанные колючей проволокой. Посреди двора вешали кусок рельсы для тревожного набата. Евреи совещались, устанавливали очередь дежурств — женщины по две днем, мужчины по трое ночью, — заключали с соседними дворами союз совместной обороны. Фигура дворника, иногда единственного православного во всем доме, вырастала во властелина, ведавшего жизнью и спасеньем. Богатеи, на всякий случай, сговаривались с ним о цене за спрятанных дочерей, — «если, не дай бог, будет погром». Цена назначалась поштучно.

На Подоле горел большой склад и магазин рабочего кооператива «Жизнь». Пожарные нехотя тушили огонь,

Большая толпа разных мутных людей и прохвостов грабила и растаскивала, торопливо и жадно, все, что подвернется под руку: — мешками сахар, крупу...

Ящиками спички, табак, мыло и махорку...

Ведрами, и в подоле подоткнутой юбки, и на фанере — мед и павидло.

Взвалит себе человек мешок или ящик на спину, тащит домой. Пройдет два, три квартала. Подскочит к нему сзади такая же муть, чикнет ножиком по мешку и потечет белой лавой мука или сахар. Подскочит, сбросит с плеч ящик, разобьет о мостовую, — трах... хряск... — и рассыпались цветными квадратиками по мостовой махра или спички. И набежит сразу целая орда из той же артели.

Хапай — лапай,

Грабь — жги,

Тащи — утаскивай...

Сгрудятся и начнут ползать по мостовой, собирая все в охапку, в шапки, за пазуху, в подола грязных юбок, — вырывая друг у друга, матершиня и дерясь, как свора рыночных собак из-за брошенной кости.

Когда мы проходили по площади, напротив Белого дома Контрактов, где горел кооператив и шел грабёж, — командир приказал дать залп в воздух, чтобы рассеять толпу.

Трусливо и быстро, как крысы, кинулись россыпью, разбежались люди. Пожарные кони сорвались с места вскачь и раздавили с десяток попавших в панической сутолоке под копыта.

Из огромной, сорокаведерной бочки из-под меда выглядывала пара чьих-то извивавшихся ног в мешковых штанах и в кованых железом немецких ботинках. Андрюшка подбежал и вытащил наземь однорукого человека. Половина человека была в меду, он напоминал какое-то отвратительное задыхающееся чудовище. Судорожно сгребал он пальцами единственной руки

липкую массу с подбородка и губ... Он задыхался и мычал... Глаза, уши, нос и рот были заклеены медом... Кто-то из нас от омерзенья или, чорт знает от чего, хотел пристрелить его, но Андрияша не дал:

— Брось, паря! А, может, он с голодухи... почему знать... вишь, безрукий.

Некоторые бросились было к разбитым табачным ящикам, торопливо стали запихивать за пазуху пачки табаку. Китаец — единственный «ходя» из нашего отряда — быстро и нервно стал уже прилаживать целый ящик на спину, как вдруг командир властно и резко окрикнул:

— Стервы!.. По своим палить буду... Шагай, ухлопай! — бросился он к китаецу, грозя длинноствольным парабеллумом.

— Роя, слышь, я говорю, шагай, — беляки окружают!..

— По пачке... Курить нечего... — попробовал было виновато огрызнуться один рыжий, веснучатый верзила, но умолк.

— Шагай, говорю, всех перешлепаю!..

И опять сгрудились кучей и опять пошли.

Командира любили и боялись... Он умел быть в бою вождем, а на стоянках другом. Хорошо знали цену его слову. Попусту не скажет.

Мы отступали последними.

Маленькая горсточка сильных, израненных смертельной усталостью людей...

Двое из нас тащили на колесах пулемет — спасительного Максимку нашего отряда.

Трое еврейских юношей, одна девушка и полная женщина с хорошим бабьим, русским лицом поджидали нас на углу и отдали нам три буханки белого хлеба и целую корзину круто-сваренной пшенной каши.

Так они провожали нас, уходящих... А один из них так и ушел с нами.

Победителей всегда встречают цветами — обыватель уверенно ждет желанных благодеяний от ставшей неизбежной перемены властей. Тем дороже было внимание и печальный дружеский привет нам, отступающим, побежденным.

Чаще и ближе стрекотали вражьи пулеметы.

Мы упорно скорили и без того быстрый шаг.

Над головой разорвалась шрапнель...

Мы кинулись от мостовой к стенам. Но было уже поздно.

Андрей и час тому назад к нам приставший юноша упали — и больше не поднялись.

Андрей лежал неподвижно... Юноша корчился, силился встать...

Андрияша с землистым лицом, с продрогшими смертной судорогой губами прохрипел:

— Мишк... Кончить меня надо... в лоб меть... Мишка...

— Андрияшка!.. боже мой... что ты... я понесу...

Я бросился к нему. Упал перед ним... Поцеловал его... и мои губы стали влажны... Я инстинктивно отер их ладонью... На моих губах была алая кровь Андрея...

Андрей два раза судорожно дернул головой, пальцы рук, сведенных смертельной дрожью, бессильно разжались, с губ на небритую щеку и на плечо шинели стекала кровь...

Китаеца, ходя из нашего отряда, подбежал, согнувшись в три погибели. Немецким штыком принялся срезать кожаный шнурок андреевского нагана.

Я поднялся, замахнулся на него прикладом. Остервенело завопил:

— Не смей... падаль...

Китаец с серым, злобным лицом, урча как собака, снова отбежал к стене...

Я попробовал было приладить Андрея к себе на спину. Силился поднять и понести.

— Готов... Чего копаешься... Пропал парняга... — схватив меня за рукав и оттааскивая от трупа, жестко сказал командир.

Я вырвал андюшкин наган из расстегнутой кобуры, сунул к себе за пазуху. Бросился вслед уходящему отряду...

Сзади тяжело раненый юноша-еврей, извиваясь и кашляя кровью, кричал:

— Ой, возьмите мене... Маме-е-э... Возьмите мене...

Пулеметы затараторили ближе и чаще. Разборчиво и четко трахали вражьи винтовки.

Мы уходили, не оборачиваясь...

Быстро и наспех...

Ночью, на двухчасовом привале в лесу... Озираясь, как цыган на ярмарке, я вытащил из-за пазухи андюшкин наган...

Наган № 114.569 — верный спутник твоих отважных дней, мой друг дорогой и любимый. Долго он был со мной — я хранил его неустанно и зорко до самой демобилизации. На ручке его неумело и печально я нацарапал гвоздем твое имя.

А теперь он в чужих, незнакомых руках...

*Другу моему
Дмитрию Крутикову
посвящаю*

СМЕРТЬ ИСИДОРА ЛЮТОГО

БРИГАДА

Прославленная сказаниями легендарными о подвигах своих, Украинская Партизанская Бригада — действовавшая в тылу у Деникина — отступала, путая след, меняя маршруты, взрывая отбитые у врага бронепоезда отстреливаясь и сражаясь на каждой версте.

Своим лучшим избранным полкам белым командованием был отдан приказ:

...«Уничтожить язву тыла во что бы то ни стало. Стереть с лица Украины, [Кавказа и Таврии банды голодранцев, ибо для того, чтобы взять Москву, Добровольческой Белой Армии нужен крепкий тыл и дороги, свободные от банд».

Украинская Партизанская, израненная в несчетных боях, разбитая усталю тяжелых переходов, опасаясь полного разгрома, — бросила проселки, по которым отступала раньше, и пошла без дорог, по обледенелым полям, по степям, покрытым стеклянкой коркой льда. Ее путь отягчал огромный обоз, с сотнями раненых, оставленных без помощи, без врачей и медикаментов.

Отягчали телеги с женами, с детьми и походным скарбом бойцов.

Нужно было быть уроженцем этих мест — нужно было помнить здесь каждый овраг и каждую лоцинку так, как не забывая помнит старый испытанный лоцман фарватер своей бухты, как знает зверь тропу к водопою, чтобы провести армию и обоз, минуя большаки и проселки, напрямик, через поля, леса и степи, засыпанные снегом, покрытые льдом.

Лучшими проводниками не обладала ни одна из армий, сражавшихся на украинских полях в мятежные годы гражданской войны. Поводыри Украинской Партизанской не сбивались с пути и не путали дорог.

Но у противника были в избытке полки для погони.

Были часты перестрелки, много бойцов падало в стычках с нагонявшим врагом и еще больше раненых и больных грузили в обоз, на тачанки, отягчая и без того тяжкий путь армии, тяжкий путь бегств и отступлений.

Коротки часы беглецов и куда длиннее версты, Нервно сжимает, коротит тревога дни и ночи, когда сзади торопит и шпорит коней погоня.

Так были пройдены сотни длинных трудных верст, разбухших от осенней распутицы, скользких от заморозков и гололедицы. Много коней пало по дороге, много тачанок было брошено в пути...

Прошли те дни, когда о подвигах храбрых слагались песни. Ушли и остались в прошлом те годы, когда слепые бандуристы бродили по Украине, из конца в конец, от Черного моря и до самой Московии, протаптывая путь сказаниям, былинам и думам своим от села к селу и от сердца к сердцу. Ведомы нашим

предкам те дни, когда слагались песни о павших смертью храбрых, о стойком мужестве борцов за волю. Ведома и нам, правнукам тех предков, храбрость и борьба, только песен о ней уж никто не поет и никто не слагает. Бандуристов больше нет! Их не стало, как не стало в наши годы рыцарских доспехов и казацкой вольницы...

И не от того ль я сегодня повествую о сраженьях, о боях, прошумевших так недавно, о павших борцах, забытых не правнуками, а братьями тех, что сражались. Не от того ль я заговорил сегодня, что уж много десятилетий прошло с тех пор, как ослеп и помер с голоду слагатель песен — последний бандурист. И если я не расскажу о смерти Исидора Лютого, то кто же сложит песню о нем?!

Украинская Партизанская Бригада, пройдя в боях и стычках не одну тысячу верст, докатилась в отступлении своем почти до самого города Умани.

О, Умань, Умань-город! Много веков, украинских веков, сытых мятежами и восстаниями, прошло с тех времен, когда был ты основан. Не миновали пожары твоих церквей, синагог и домов. Не миновала резня, разбой и погром твоих улиц. Много, много битв произошло у подступов твоих, так много, что даже историки сбились со счета.

А разве тот бой, последний, что был в девятьсот девятнадцатом мятежном году, разве не славен был он? Разве о нем не должно сложить песню?! И если бы только смогли наши прадеды из Запорожья встать и хоть одним оком глянуть, как сражались с офицером и панами их праправнуки из Украинской Партизанской — налилось бы прадедовское сердце восторгом и гордостью, налилось бы до краев и до полна.

Но так и не дошли полки бригады до Умани. Уперся авангард в белые полки, поставленные в заслон. И когда разведка вступила в перестрелку с конницей противника, бригаде был отдан приказ — удариться вбок и попытаться взять Умань обходом.

Умань взять надо было во что бы то ни стало, не глядя на потери. В Умани была база противника, там можно было отбить патроны для бойцов и медикаменты для раненых.

Бригада попыталась исполнить приказ, но была обстреляна ураганным орудийным и пулеметным огнем... Полк, оставленный для прикрытия маневра, потерял больше половины своего состава и еле держался, беспрерывно требуя подкреплений.

Разведки, посланные во все стороны, принесли жуткую весть:

— Бригада попала в мешок!

Украинская Партизанская очутилась в стальном кольце лучших деникинских частей. Тут были, как выяснилось впоследствии, и Первый Железный Офицерский полк и Четвертый Донской Казачий, и Сводный Славянский, и другие кавалерийские и пехотные части, избранные из избранных, наилучших и вернейших белых полков.

Кольцо сжималось. Становилось душным и грозным, как петля.

Настал час, когда должно было решиться, быть или не быть бригаде. Погибнуть ли здесь всем до единого под Уманью или прорвать кольцо, скинуть петлю и уйти назад к Киевщине, Екатеринославщине, Харьковщине, чтобы там, в родных деревнях и селах, сменить загнанных, охромевших лошадей, пополнить новыми свежими силами ряды бойцов, сильно поредевшие в не-

счетных боях. Нужно было бросить думать о захвате Умани и попытаться где-нибудь по пути отбить у врага, неожиданным налетом, поезда с патронами, снаряжением и медикаментами. Нужно было начать сызнова борьбу с офицерьем, до полного разгрома, до изгнания беляков, до того часа, когда враг будет прижат и опрокинут в море.

Бригада отступила в деревню, которую накануне оставила. И как-раз во-время. Враг, суживая кольцо, попытался было сам занять ее, но партизаны опередили.

Сгущалась темень. Надвигалась ночь. Перестрелка замерла.

Комбригом Иваном Малым, за подписями всех членов штаба бригады, был отдан короткий приказ:

«Всем бойцам пехоты, кавалерии и артиллерии.

Всему обозу.

Всем командирам:

По пехоте: взводов, полурот, рот, батальонов, полков.

По кавалерии: взводов, полуэскадронов, эскадронов, 1-го и 15-го Кав. полков.

По артиллерии: 2-й батареи и полубатарей.

Банды офицерья, кадетов и беляков окружили нас со всех четырех сторон. От врага нам ждать пощады нечего. Не для того восставали против беляков, чтобы теперь сдаваться и самим лезть з петлю под расстрел и на лютую казнь.

Умирать надо или выбиться!

На завтра, спозаранку, чуть заря, назначаю главную атаку на прорыв. Бойцам быть готовым на победу или гибель!»

Комбриг Иван Малый
Члены штаба (подписи).

Исидору Лютому, прославленному командиру тринадцатого партизанского полка, было дано задание: «в порядке боевого приказа достать во что бы то ни стало этой же ночью языка и препроводить означенного немедля в штаб».

Исидор Лютый — красавец-хохол громадного роста и богатырской добрынинской силы — был на голову выше всего своего полка. Когда шел полк густой колонной, то над всеми головами бойцов высилась и маячила большая исидорова голова.

Лютый отрядил два десятка бойцов для захвата языка. Он наказал им, разделившись на двое, пойти в разных направлениях и так или иначе, но без пленника не возвращаться.

Двадцать екатеринославцев-шахтеров пошли исполнить приказ командира — исполнить или не вернуться.

Один из них, запыхавшись, прибежал обратно, топропливо и прерывисто прокричал кому-то в темень:

— Хлеб увесь не роздай!.. Бондарчуку треба сказати, щоб и нам по шматку осталось!.. Щоб не весь з'или...

— А ты вже с переляку у...?! Злякавсь, що злопаем и тоби не оставим! Догоняя швидче, дурья башка, своих...

Парень, не дослушав его и не отдышавшись, кинулся догонять ушедших, придерживая на ходу винтовку.

* * *

Исидор Лютый, чтобы уж больше не ворошить своего полка, которому завтра надо было идти головным отрядом в бой, упросил комбрига не назначать охранения из Тринадцатого Партизанского и дать отдохнуть бойцам.

Наспех с'ев кусок хлеба с салом, Лютый привычным быстрым шагом зашел к хате, которую накануне занял, чтобы и самому лечь спать и хоть немного выветрить усталость, осевшую свинцовой тяжестью в голове. Лютый знал, что надо, обязательно надо, ему поспать хоть часа три, чтобы крепче и тяжелее была рука в завтрашнем бою, а голова полегче.

Вошел Исидор в хату согнувшись почти вдвое, чтобы не задеть за притолку. Горела на столе лампа без стекла, и какими-то причудливыми тенями падал свет ее на мордастые портреты, висевшие на стенах, и на обветренные широкие и крепкие лица партизан, спавших вповалку на полу. Чад от лампы шел густой и подымался кверху, оседая копотью на потолке. Красный язычок пламени трепыхался из стороны в сторону, когда открывалась дверь и врвался ветер в хату. Исидор отбросил в сторону чьи-то ноги, чтобы освободить место на постланной на полу прелой соломе, снятой партизанами с крыши хозяйской клуни, и стал прилаживать себе седло в изголовье вместо подушки. Но потом он раздумал, седло бросил на стол и, положив под голову маузер в деревянной кобуре и на него папаху, лег так, укрывшись своим негнувшимся, покоробившимся от дождей и непогод, полушубком. Почти тут же, едва коснувшись щекой папахи, он захрапел. Храпел он как-то по-особенному, громко и переливчато, с передержкой и с присвистом.

Хозяйка не по годам состарившаяся вдова, лежа на печи и ворочаясь от бессонницы, вдовьих забот и страха, как-то уныло и заученно, в сотый раз начинала повторять свои претензии к богу.

— Ой, боже ж мий, за яки таки грехи... И хрöpfать же, не наче в последний раз... от лиха година!.. Ой,

боже ж мий, хоть бы жменяю сольцы, третью недилю без соли пропадем... И сами и скотына. Боже ж мий, боже ж мий!..

Тревожен сон на фронте, тревожен в ночь перед боем. Часто вздрагивали бойцы во сне, часто прерывался сон хриплым, простуженным кашлем. Кто-то беспокойно заворочался, кто-то выкрикнул со сна:

— Гарпына, чи ты чуешь, чи ни? Гарпыно-о!

Хозяйка, вдруг прослезившись, утирая рукавом глаза, сквозь слезы прошептала:

— Нэ наче жинку кличе, нэ наче приснылась... Мабуть и чоловик без жинки знае почем пуд дыхал.. Ны за що, задаром народ переводють... А де ж це мий сыночек, де ж це вин ниченьку ночуе?!

ДВА ЯЗЫКА

Опрокинула ночь темным куполом небо. Скупно просыпала звезды. Крепким морозцем прошла по голой земле.

Перестрелка замерла и только одиночные выстрелы кой-где вспугивали ночную настороженную тишь.

На аванпостах залегли секреты. Дозорные ходили патрулями. Густая и сильная цепь сторожевого охранения легла впереди обоза. Это было наиболее слабое место. Здесь были страшны неожиданности.

Лежали в цепи бойцы на холодной земле и думалось бойцам и вспоминалось разное.

Вспоминался кой-кому и Днепр, и бахчи у Днепра, и хмельные озорной человечьей любовью весенние ночи у Днепровских порогов.

Вспоминалось партизанским конникам-грекам родное Приазовье и колонии греческие, раскиданные по степи

щедрыми пригоршнями, и черноземные тучные поля, растившие тяжелую пшеницу, и густые отары «шленки» — отборной овцы, поредевшие от многих грабежей и налетов, от военных постоев и частой смены властей.

Вспоминалось кресноармейцам-бородачам, семейным — травило сердце полынью — кровное свое, житейское и больное... Хозяйство, оставленное без хозяйского глаза и присмотра, обреченное на разор и безотцовщину... Вспоминались жены, покинутые в голодные дни, и дети малые, брошенные без призору и без хлеба. А молодняку из городов и рабочих поселков так и снились немощные улицы, узкие тупики и переулочки пригородов и окраин... Снились гулянки в ночь под воскресенье, гулянки до зари, под ручку и в обнимку, с молодой краснощекой девкой. Вспоминалось морщинистое материнское лицо и утеранный в оступлении кисет — прощальный девичий подарок.

А ночь, как все ночи, близилась к рассвету.

Сомневались некоторые из бойцов в удаче завтрашнего боя:

— Силы-то у беляков чорт знает скоко! Темным темно!..

— Шибче тикать треба було... А обоз як камень... из-за обоза всим теперь могила!..

— И опять же мешок, — это тоже, брат, штука с гадкой!.. Подлая вещь!..

— Ишь штабник який нашовся!.. Сукиного сына сын треплет языком, як кобель хвостом... Тильке панику наводит!..

— Пустозвонить, хлопци, тильке биду скликать. За Иваном Малым не сгинем! Не таки булы заслоны!..

Пораненные во многих боях, не первый день рубившиеся под командой Ивана Малого, партизаны с простреленными костями и незажившими ранами верили в своего комбрига, верили в его силу, удачу и хитрость, и не опасались разгрома в завтрашнем бою.

Но малOVER и скептик от рода, Никола Левчук, не выдержал, обронил словцо:

— Малой, вирно Малой! А вже ж и вин не дужильный.

— Да и ты, трубохват, не того, не шибко...

— Оце як бы тилько коней не загнали б, хйба отступили б?!

— А ни в жисть!.. Порубали б на-чисто!..

— А у нас вже, мабуть, усю молотьбу кончили!..— совсем некстати прогрезил кто-то вслух молодым и звонким голосом.

На него оглянулись с укором. Старики смолчали, а молодняк не стерпел,— надсмеялся вдосталь...

— Загнали хлопця в бутылку!

— А то ж не загонють?! Хвакт,— загнали.

* * *

С полуночи окреп ветер... Дул с северо-востока холодный и резкий. Мчал сухую и мерзлую пыль, хлестко ударял по лицам, в'едался в пальцы, охватывал стужей спину и бока...

Качались, трещали голые верхушки двух тополей у крайней избы, гнулся, припадал к самой земле чахлый кустарник, тревожным, гудящим свистом полнилась ночь.

За два часа до рассвета, на вражьей стороне, как раз напротив партизанского обоза, противник не ожи-

данно открыл огонь. Пулеметную, сухую и дробную трескотню глушила лихорадочная стрельба пачками. Цепь охранения уже приготовилась к бою, силясь разглядеть врага.

Тревога была напрасна.

Стрельба так же неожиданно, как началась, смолкла.

Десять шахтеров из второго десятка, посланного Исидором Лютым за языком, подкрались в темень к расположению беляков, но были обнаружены, неожиданно наткнувшись на вражий пикет. Противник принял их движение за ночную атаку и, открыв беглый огонь, скосил их всех до одного.

Зато первый десяток, не потеряв ни одного бойца, возвратился сразу с двумя пленниками, захваченными живьем. Первый из них, коренастый и плотный, в свежем изодранной английской шинели, шагал посреди направленных на него штыков и винтовок, взятых на изготовку. Шагал он чеканно и четко, как на параде, вымуштрованным фельдфебельским шагом. Его пышные, с большой любовью и особой тщательностью возвращенные усы спускались искусным завитком, на вершок ниже бритого подбородка. На его выпяченной груди блестящей шеренгой уставились ордена и медали, начиная от царского Георгия всех степеней и кончая орденом участника Корниловского ледяного похода.

Второй пленник — молодой и безусый офицер, спотыкаясь и хромая, брел позади фельдфебеля, пугливо озираясь по сторонам бегающими, ищущими глазами. Был он без шапки и в одном только сапоге. Второй с него стащили партизаны, но ни одному из них он не пришелся в пору, всем был мал. Они его тут же бросили, как ненужную вещь, но офицер не решился поднять его и снова надеть. Шерстяной носок (связан-

ный, вероятно, еще бабушкой) на необутой ноге повалился вдрызг, а сама нога промерзла насквозь. Лицо офицера было до синевы бледно, руку он держал во рту, чтобы не лязгали зубы. Узкие в обтяжку брюки галифе были подозрительно мокры, зудили и щипали ноги, повыше колен.

Пленники шли молча. Изредка фельдфебель оборачивался, оглядывал быстро офицера с ног до головы, презрительно складывал губы и зло сплевывал в сторону.

— В какой хати штаб тринадцатого? Нияк не знайдем!..

— Третья с того краю.

— Беляков ведете?!

— Беляков.

— А чего их вести и куда?! Шлепай на месте, а хошь, дай я шлепну!..

— Сами грамотны... Языков ведем, понял?

— Що-ж тут не понять. За языков никто не говорит.

* * *

Исидора Лютого кинулись будить сразу трое.

— Просыпайсь! Чуешь, языков привели!

— Да вставай же!..

Исидор поднялся, сел, глянул на всех ничего не видящими со сна глазами, зажмурился от света.

Фельдфебель, стоявший позади бойцов, будивших командира, подался всем туловищем вперед. Взглянув на Исидора, он вдруг, напряженившись, сжался весь и надсадно заорал, выплевывая вместе со словами слюну и ярость:

— Исидор?! Байструк?!

Лютый, узнав голос, вздрогнул весь и вскочил на ноги...

— У-у-у, вотчим, убей его гром! — завопил Исидор надорванно и страшно.

Фельдфебель одним рывком схватил со стола седло и чувствуя, что сзади его уже ловят за руки, кинул его со всей силы в сторону Лютого.

— Исидор, сучья кровь! — взвыл фельдфебель, бросая тяжелое седло в голову пасынка. Перекошенное лицо отчима с танцующими усами и злобным волчьим оскалом зубов — было страшно.

Седло было брошено метко. Оно бы раскроило череп Исидору, еслибы тот не успел согнуться почти вдвое и упасть на четвереньки. Тяжелое седло пролетело мимо, вышибло окно и застряло в раме.

Дребезжа и дзинькая посыпалось битое стекло.

Хозяйка, лежавшая на печи, проснулась от грохота... Завопила, хватаящим за душу, бабьим криком:

— Ра-ту-у-у-йтэ!.. Ратуйтэлюдидобры... Ра-ту-у-у-йтэ!..

Один из разбуженных шумом и воплями партизаныкнул на нее:

— Цыц, ведьма!.. Цыц, бо убью!

Исидор Лютый быстрым рывком кинулся за своим маузером.

Фельдфебель, вырвавшись и опрокинув с грохотом табуретку, бросился вслед за Исидором...

Яростный, надрывный вопль вырвался из его горла...

Бойцы шарахнулись в сторону...

Один из них, исступленно ухнув, со всего размаху, ударил штыком в фельдфебельскую спину.

Колени фельдфебеля как-то нелепо подогнулись, лязгнув, сомкнулись зубы... Он рухнул на пол, не сделав и шага. Послышалось в жуткой тишине бульканье

и хрип... Судорога прошла по ногам, напряжинила, сжала их и снова вытянула... Фельдфебель замер.

Пасынок, подлетев к телу отчима, вогнал еще две пули в голову трупа.

— У-у-ух, гад ползучий!.. — Кто-то из партизан зло сплюнул фельдфебелю на ноги.

Пленный офицер, отворачиваясь и почти рыдая, пробормотал:

— О бож-же!!!

Зубы у него стучали, нижняя челюсть прыгала, глаза были выпучены ужасом...

Исидор Лютый, схватив офицера за руку повыше локтя, крепко сжал ее и потащил его иссиня-бледного и дрожащего в штаб бригады. Шел он, опустив низко голову, быстрыми большими шагами. Офицер бежал за ним, охватив свободной левой рукой пальцы Исидора, в'евшиеся клещами в мускулы и мясо правой руки.

— Отпустите руку!.. Я вас умоляю!.. Я ведь и так иду... Я не могу!.. Отпустите!.. Я упаду сейчас!.. — захлебываясь умолял офицер. Крупные слезы тяжелыми каплями падали часто из его больших и расширенных глаз.

Исидор, не слушая его, шагал все быстрее, отхватывая длинными ногами каждый раз по полсажени. Губы его были плотно сжаты, мускулы щек играли. Слепые, ничего не видящие глаза глядели под ноги. Сквозь сомкнутые зубы он, время от времени, что-то бормотал, нелепо повторяя слова.

— Сгубыв... Оцэ так... Так... Вотчим...

И вдруг в исидоровой тяжелой голове что-то произошло на миг... Вспомнился, неожиданно и совсем некстати, единственный подарок отчима, единственный

ласковый улыбнувшийся день за всю их совместную жизнь, за все те тринадцать лет, отравленные лютой придирчивой злобой.

В тот день отчим принес пасынку в подарок детский, блестящий и черный пугач. Исидор не знал, что пугач этот отчим, бывший тогда старшим городовым в участке, отобрал у какого-то гимназистика, встреченного на улице.

Но все же то был единственный день, случайный и неожиданный, и запомнился он, напоенный радостью до сыта. Врос глубоко в память пугач тот, игрушечный и детский.

А почему сейчас, вот в эту минуту, вспомнился именно тот день, единственный, а не любой из пяти тысяч других, когда придирчивые и буйные отчимовские кулаки били пасынка каждодневно «почем зря» и куда попало — Исидор не знал.

Крадучись, опасливо и по воровски заползло что-то в роде жалости и сожаления в исидорово сердце...

Лютый вдруг выпустил руку пленного офицера, схватил его за воротник шинели, тряхнул и гаркнул:

— Швыдче шагать умиешь?! Бо сразу научу!..

Офицер, торопливо и неровно побежал на полшага впереди Исидора Лютого. Закусив нижнюю губу и весь согнувшись на бок, он несколько раз на ходу погладил выпущенную Исидором руку.

Сзади, едва поспевая за офицером и Лютым, молча шагало семь бойцов из того десятка, что привел языков.

Командир десятка — взводный Микита Богацько и еще двое остались в избе.

Убийца фельдфебеля отер свой штык о полу фельдфебельской шинели и, вдвоем с товарищем, ухвативши за ноги труп, они волоком потащили его вон из избы.

Хозяйка, украдкой выглянув из-за печи, трижды перекрестила труп.

Взводный Микита Богацько, перевернув солому, залитую фельдфебельской кровью, на другую сторону и раструсив по ней еще пук, выдернутый из-под заснувших товарищей, тяжело опустился на нее и, не разуваясь, заснул, положив под голову локоть.

НА ПРОРЫВ

Тринадцатый Партизанский шел головным отрядом в бой, на прорыв вражеского заслона. Центром атакующих колонн командовал командир Тринадцатого — Исидор Лютый; правым флангом — член штаба бригады — Иосиф Гарц, левым — Григорий Малой, брат комбрига. Сам комбриг за полтора часа до начала боя во главе сводного кавалерийского отряда, — куда были отобраны лучшие кони бригады и бойцы, испытанные и выверенные во многих боях, — ушел в обход врагу для выполнения особого задания. Комбригу вместе с отрядом надлежало прорваться в тыл противника и оттуда неожиданным ударом в спину врага решить судьбу боя.

Бойцам атакующих частей было выдано по сорок патронов на штык. В запасе у бригады осталось такое же количество. Строго-настрога было приказано заряды всемерно беречь и стрелять только по приказу командиров или в случае самой острой нужды.

Бой начался.

Наступали партизаны.

Пробежит под неприятельским огнем согнувшись в «три погибели» партизанская цепь шагов двадцать и опять по команде «ложись» залягут бойцы до следующей перебежки. А потом снова с правого фланга на

левый, из уст в уста, от соседа к соседу пробежит команда:

— Перебежка!

— Есть, перебежка.

— Перебежка!

— Есть, перебежка.

И снова шагов на пятьдесят подвинется цепь вперед, роняя по пути выбывших из строя — раненых, убитых...

Тринадцатый Партизанский с самого начала боя, получил наказ отбить у врага хуторок, в котором, по словам захваченного вчерашней ночью языка — офицера, был расположен полевой штаб беляков. Хуторок этот, разрушенный и полусожженный, залег позади холма, поросшего редким и чахлым мелколесьем.

Партизанская цепь уже подошла почти вплотную к самому его подножью, но дальше, несмотря на упорное мужество и настойчивость бойцов, не смогла продвинуться ни на шаг.

Враг, занимавший лучшие позиции, окопавшийся и полускрытый кустарником, открыл ураганный, беспорядочный огонь пачками. Вражьи пулеметы гневно отплевывались тысячами пуль, а у партизан были считаны патроны.

Когда, не глядя на убийственный огонь противника и не считая своих потерь, партизаны все же стали одолевать, когда холм — ключ к хутору — был уже почти очищен белыми, Исидором Лютым был получен из штаба бригады приказ:

— Отойти назад, выравняться с правым флангом и не зарываться вперед.

Левый фланг был сильно помят беляками и отступал, несмотря на то, что ему на подмогу была бро-

шена почти половина всех резервов бригады. Штаб опасался из боязни флангового обстрела выпячивать центр, имея левый фланг отступающим и смятым.

Исидор Лютый, шедший наравне с бойцами в первой цепи, нехотя распорядился отступить:

— Отдай назад, шагов на двести!..

— Есть, отдай назад шагов на двести,—повторялось от соседа к соседу и так до самого крайнего, до левофлангового.

Противник воспользовался внезапным отступлением партизан и решил неожиданным сабельным ударом ошеломить и опрокинуть отступавшие цепи.

Двести чеченцев с шашками наголо и около сотни донцов с пиками наперевес бросились из-за холма конной атакой. Дикий боевой вопль чечни, осатанелое «ура» и разбойный присвист донцов, развевающиеся бурки и пики, зловеще взятые наперевес, хлестко ударили по сердцу партизан. Захолонуло оно, застыло и сжалось.

Дрогнула первая цепь прославленного Тринадцатого полка, дрогнула и колыхнулась.

— Бойцы слухать!.. Сто-о-оп!.. Назад ни шагу!..

Сумел Исидор унять дрожь. Сумел сломить первую, самую страшную, мысль о бегстве, сумел осилить страх и ужас бойцов.

Цепи стали, как вкопанные. Первая опустилась на колени, вторая, подоспевшая к ней в затылок, стала во весь рост. Обе цепи, ошестинившись дулами, замерли в ожидании команды. Противник вынужден был огонь прекратить, чтобы не бить по своим.

Исидор знал, что уж если сумел он уломать в первый самый страшный миг бойцов, то теперь и они «не подгадят», не выдадут. Не в первый раз он

вместе с ними принимал сабельный удар и думалось ему, что и не в последний.

Подпустил Исидор поближе чечню и донцов, ударил залпом раз, другой и третий... и вернулось из трехсот всадников не более сотни назад. Бились подстреленные кони... Ошалело и стремглав носились по полю без всадников, и всадники, высвобождаясь из-под павших коней, ползком на брюхе пробирались к своим.

Исидор Лютый удержал бойцов, пьяных победой, рвавшихся неудержимо и жадно вперед, и начал отходить, выравниваясь с правым флангом.

Перестрелка участилась...

Враг взял инициативу и перешел в наступление.

Партизанские цепи отстреливались редко и словно нехотя... надо было беречь патроны.

* * *

Ветер утих. Обрывки белых облаков растерянно плыли по небу. Легкие, редкие снежинки кружились над землей. Морозный воздух был свеж и чист.

Последний слабеющий порыв ветерка донес с деревни запах дыма... И был странен и не к месту этот запах жилья и уюта в холодном осеннем поле, истоптанном людьми и копытами коней, взрытом снарядами, кое-где запятнанном кровью и трупами мертвых и телами живых, притаившихся, припавших к земле бойцов...

Стрельба становилась все напряженной и нервной. Бешеным карьером, на партизанской стороне, прямо вдоль линии огня, скакал какой-то всадник...

Издали, еще до того, как он поравнялся с цепью, услышали партизаны его исступленный, отчаянный крик:

— З бидой!.. товарищи, з бидой!..

Повод вместе с наганом всадник держал в правой руке. Из разрубленной левой стекала кровь, обрызгивала штаны, лошадь и голенище сапога.

Всадник надсадно и хрипло вопил:

— З бидой!.. Комбрига вбило... Малого вбил!!!

Ударил громом панический крик. Громоухая ужасом пронесся по цепи и застрял у каждого в ушах.

Поняли бойцы, что неоткуда ждать теперь подмоги, неоткуда ждать спасения...

— Пропадем ни за шо!..

Охватила паника бойцов.

Бросились многие россыпью в стороны, бросились стадом назад.

Почуял Лютый, что гибель пришла и ему, и всему партизанскому войску, и всем бойцам Тринадцатого полка. И вдруг какая-то сила подмыла его, бросила и понесла вперед. Схватив винтовку наперевес, отбежал Исидор вперед шагов на десять, и оттуда грянул крик его,—надежный и крепкий:

— Вдаримо, хлопцы!

Крик этот, зовущий и резкий, хлестко ударил по нервам бойцов. Захлестнул огромной, неведомой силой. Бросилась в голову кровь и схлынула снова.

Остановилась, обернулась грудью и застыла бежавшая цепь...

Заколыхалась в секундной нерешительности, еще раз вздрогнула, вновь колыхнулась и бросилась за своим командиром. И вторая цепь кинулась вслед за первой.

И совершенно неожиданно ошпарил страх Исидора крутым кипятком. Страх, что не кинутся, не пойдут бойцы за ним, и погибнет он зря и в одиночку, от шальной пули. Лютый хотел уж было обернуться...

Но раздался сзади рев...

Рев этот осатанелый и дикий:

— Ого-о-ой!!! Бей!!! — смысл исидоров страх без остатка.

Слепой и яростный, дикий, как прапредок, преследующий зверя, Исидор Лютый скачками неся впереди Тринадцатого полка.

— Ого-о-ой!!! Ура!..

— Бе-ей!!!

— Вдаримо, товарищи!

— Вдарим, Лютый, вдарим!

И ударил Тринадцатый Партизанский так, что вдребезги разнес два вражьи полка, поставленные в заслон.

Вздумали было беляки опрокинуть атаку артиллерийским огнем, но перепутала, в спешке, батарея противника установку и целой очередью шрапнели ударила по своим. Это-то и помогло партизанам опрокинуть и погнать впереди себя лучшие части беляков.

А когда опомнился противник, когда бросил на подмогу своим разбитым частям, прямо в лоб Тринадцатому, свежие резервы, а сбоку, а потом и сзади обрушил на него отборную свою конницу—тогда круто пришлось бойцам Тринадцатого.

Храбро, до последнего, дрались партизаны, разрезанные вражьей конницей на несколько групп. Мужественно, грудью встречали удары сабель и штыков. Никто не ждал и не просил пощады.

И когда выбивалась хотя какая-нибудь кучка партизан из вражьего кольца, из тугой петли, мертвой хваткой, стиснувшей Тринадцатый, не кидались бойцы на утек... Снова бросались в бой на подмогу своим таявшим и редевшим, обреченным на гибель саратникам-бойцам.

Когда увидел Исидор Лютый, что нет уж кругом людей, что все полегли, что покачулся и упал ничком и взводный Микита Богацько — земляк и друг Исидора...

Когда увидел, что от врага просвету не видно, а до другой кучки еще сражавшихся партизан ему не пробиться — захотелось Исидору Лютому помереть не от вражьей руки. Захотелось взорвать и себя и еще хоть бы с пяток наседавших беляков.

Ухватился было Исидор за гранату, но слишком поздно. Ошеломленный ударом приклада в затылок, ударом, нанесенным сзади, Исидор Лютый рухнул.

Рухнул на земь прославленный командир славного Тринадцатого полка, упал и был захвачен в плен живьем.

* * *

Перестрелка утихла на час, как-будто для передышки, как-будто для того, чтобы, передохнув, начать сызнова хлестать горячим свинцом еще яростней, еще пуще.

Беляки, подтянув резервы, перестраивали ряды для последнего штурма, для окончательного разгрома и уничтожения бригады. У партизан резервы отсутствовали и подтягивать было нечего, разве что ремни потуже на собственных голодных животах.

И там на черноземных полях, где еще, накануне летом, росла густая и тяжелая зерном пшеница, шелеста и привычно кланяясь ветрам...

Там на полях стыли теперь лужи горячей еще крови, там валялись белые сгустки мудрых человеческих мозгов и последним холодком остывали трупы павших, с той и другой стороны.

Исидора, связанного и избитого, притащили беляки в свой штаб, помещавшийся в громадной риге полу-сожженного хутора, у которого тарахтя мотором стоял броневик. Исидора Лютого, единственного из всех сражавшихся партизан, они взяли в плен, очевидно почуяв в нем командира и одного из главных вождей бригады.

Исидора Лютого допрашивал лично полковник Бередов, начальник штаба всей Особой Группы белых войск, действовавшей против партизанской бригады.

Низенький, худой и желчный он вынужден был, из-за необычайного роста Исидора, запрокидывать голову и глядеть на него снизу наверх. Это полковника бесило и заставляло нервничать. Вопросы свои он гневно выкрикивал резким неприятным голосом:

— Ты чем был у голодранцев? Помощником Малого?!

— А хйба що?..— связанные за спиной руки Исидора сжались в кулаки. От этого ремни еще глубже вошли в тело. Налились и переполнились жилы.

— Отвечать, когда спрашивают!— Полковник с силой топнул ногой.— Ты помощник Малого?

— Не-е, я китайского бога помощник...

— Молчать!

— А сам чего орешь, як на ридного батька?!

— Молчать! Мерзавец!— полковник, подпрыгнув, ударил одетым в перчатку кулаком по лицу Исидора. Из разбитого носа хлынула кровь.

Невероятным усилием Исидор старался вырвать связанные руки. Но ремни не поддавались и содрали кожу с ладоней.

— Отвечать! Ты помощник Малого!?

Набрав слюны, Исидор сочно плюнул прямо в голову полковника. Перемешанный с кровью плевков сел на серую папаху Бередова.

Исидор, поваленный чьими-то руками, упал навзничь. Падая, Лютый ушиб раненую голову и прикусил язык.

Полковник Бередов, подскочив к нему, ударил несколько раз по лицу и в грудь Исидора носком сапога. Лютый извивался, силясь подняться на ноги, но напрасно. Мешали, не давали встать связанные руки. Изловчившись, он вцепился зубами, как разъяренный пес, в ногу полковника. Но даже исидоровы волчьи зубы не смогли прокусить кожу сапога.

Полковник кинулся было рукой к кобуре, но она была пуста, — револьвер остался, забытый, на штабном столе.

Взбешенный полковник приказал коротко и хрипло:
— Рас-с-стрелять!.. Пристрелить тут же!..

Штабной ад'ютант, придерживая на ходу ножны шашки, подбежал к полковнику. Склонившись к нему, он что-то наспех зашептал ему на ухо:

— Хорошо, честное слово, хорошо! Верная мысль!.. Благодарю! — Полковник торопливо пожал руку ад'ютанта. Второй своей рукой он сделал знак солдатам, уже было лязгнувшим затворами винтовок.

— Эй, вы, приостановитесь! Не надо!

КОНЕЦ ИСИДОРА

Когда вдоль партизанских цепей пронесся раненый всадник с диким воплем:

— З бидой!.. Убило комбрига!..

Ошпарил крик этот, панический и страшный, смертным ужасом бойцов. Отшиб надежду на победу, надежду на прорыв. Показали партизаны врагу затылок.

Враг, оправившись после удара Лютого, уложив весь Тринадцатый Партизанский полк, и разгромив

левый фланг бригады, учуял панику бойцов и погнал на них левой своей полки.

Захлестнул проливной и горячий свинцовый ливень в отступающие части бригады.

Партизанские цепи бежали, изредка отстреливаясь на ходу.

На гнедой кобылице, пущенной в яростный галоп, скакал огромный рыжий всадник к бегущим, охваченным паникой цепям. Всадник скакал так, остервенело увеча кобылицу от самого штаба бригады. Шпоры рвали лошадиные бока, и слова, лязгающие как затвор, резали и вхлестывались в ухо:

— Бл... Страху не разводи!.. Комбриг живой!.. Иван Малый жив!!! Григория Малого убило!

Сумел всадник басом своим, густым, уверенным и властным обуздать панику бойцов. Примером своим, неудержимостью, стремглав несущейся вперед, сумел заставить бегущие цепи повернуть обратно.

— Цепи, равня-я-яйсь!.. Вперед бего-о-ом!.. Пошла наша-а!

И цепи выравнивались...

Бойцы, словно устыдившись прошлой трусости и паники своей, с новым упорством, ожесточенно и яростно бросились в контратаку. И были пьяны бойцы голосом всадника, были пьяны неудержимой жаждой мести... Мести за Григория Малого, брата комбрига, и за прошлую трусость свою, и за всех тех, что полегли за сегодняшний бой... За всех, что лежали на полях и в оврагах, скрюченные последней смертной хваткой... Местью кровной за всех своих соратников-бойцов, что сегодня в первый раз взглянули не живыми, а мертвыми глазами на небо и в землю.

Всадник скакал и останавливал остатки бегущих. Заставлял показать врагу грудь, а не затылок... Заставлял принимать смерть и пулю не спиной, а грудью.

— Бежать некуда!.. Поворачивай оглобли!.. Пройтись надо... Комбриг жив... Иван Малый выручит — ударит врагу в спину!

Так скакал всадник яростным галопом, пока шальная оголтелая пуля не сразила насмерть кобылицу. Тогда пешим повел он партизанские цепи в бой.

Противник бешеную контратаку встретил, не дрогнув. Враг пачками бросал свежие части в бой. Были в избытке у беляков резервы.

Контратака была отбита.

* * *

Враг одолевал.

Командир Первого Железного Офицерского полка — генерал Зарубин, стреляный воробей, старый вояка — больше всего любил славу, ордена и отличия. Он был скуп на похвалу другим, но ждал щедрости в похвалах себе и своему полку. Поэтому и берег он полк свой для последнего удара. Для того, чтоб Железному Офицерскому досталось право добить раненого насмерть противника, и тем самым, оставив в тени остальные части белых, выставить свой полк, как застрельщика победы.

Генерал Зарубин — негнувшийся, прямой, с драчливо торчащими усами на чисто выбритом лице, отправляя полк в бой, обнажил шашку, воинственно взмахнул ею, сказал:

— Господа офицеры! Генерал Драгомиров лично обещал мне, если мы уничтожим банду, неделю отдыха в Киеве для всего полка. А кроме того немедленную

выдачу полного денежного довольствия. Господа офицеры! — генерал снова взмахнул шашкой. — Эта шваль, эта чернь отобрала у нас все, она разгромила и пожгла наши поместья! Она сделала нас нищими! Уничтожьте ее! Это право вашей мести.

Генерал Зарубин сделал еще какой-то фортель шашкой и сразу сорвавшимся голосом заорал, отдельно по одному выбрасывая слова:

— Рубите их!.. Колите!.. Стреляйте!.. Топчите!.. Уничтожьте и чтоб в живых не осталось ни одного! Ни одного!..

Полк как-то нелепо парадно (для такой передовой позиции) повернулся на каблуках и пошел стройными рядами, четко выбивая шаг, так четко, словно впереди не молчал, а играл оркестр, маршу которого сами собой подчинялись бы ноги.

Впереди полка шел, тарахтя железом и мотором, броневик, и на нем, на крыше броневика, между двух башенок, привязанный к ним на коленях стоял Исидор.

Был он без шапки. Волосы на затылке слиплись и засохли кровавым комом. Лицо было вымазано кровью. Ветер сбрасывал со лба его пряди черных смоляных волос и играл ими. Ветер обдувал ушибленный затылок и от этого голова становилась легче.

Глядел Исидор Лютый вперед и видел через головы беляков отступающие партизанские цепи.

— Стреляйте, сучьи дети! Стреляйте! — кричал Исидор, но крик не долетал до бойцов.

Обдавали партизан сухим ливнем жгучего металла пулеметы броневика, обдавали исидорово сердце нестерпимой болью.

А враг торжествовал, предвидя полный разгром партизан.

Бойцы бригады сражались свирепо, ибо пощады нечего было ждать от врага.

Штаба больше не существовало. Весь штаб рядовыми бойцами ушел на линию огня.

Легко раненые вернулись в строй из обоза. Многие жены бойцов, бросив детей в обозе, легли в цепь рядом с мужьями чужих жен и рядом с собственными.

Научила опасность непривычную женскую руку, научила сразу несложному умению убивать. Огрубелые, но все же женственные руки крестьянок, созданные для страдного бабьего труда и материнской ласки, цепко ухватились за винтовки.

Нехватало патронов.

Единственная партизанская батарея расстреливала последние снаряды.

А когда расступились наступающие вражьи части, когда пропустили вперед броневик и вслед за ним первый Железный Офицерский полк, шедший по отделениям, как на параде, блестящий и торжественный...

Когда увидели партизаны связанного живого Исидора на броневике... Увидели окровавленного и бесильного...

Когда вдруг оркестр Первого Железного Офицерского полка ударил победный марш, а весь полк в такт ему четко стал выбивать шаг...

Когда хищные дула пулеметного броневика без удержу стали хлестать свинцом...

Заскулил страх в груди бойцов и сердце заныло в зловещей тревоге.

Поняли бойцы Украинской Партизанской, что спасения нет и ждать его нечего.

— Дальше, хлопцы, ехать некуда!.. Дело гробом, могилой пахнет!..

Храбрость от отчаяния — та, что удесятяряет силы и ярость издыхающего, раненого насмерть хищного зверя, та храбрость от отчаяния, которая приходит, когда все потеряно, кроме желания гибели врагу — храбрость яростная и слепая — овладела бойцами партизанской бригады.

С ними тут же рядом, плечо к плечу, сражались их излюбленные, избранные командиры. С ними рядом они дрались, с ними вместе падали и умирали сражаясь.

И те самые бойцы, которые, несколько часов назад от одной неверной и панической вести о смерти комбрига, бросились стадом бежать... Те самые бойцы, теперь, когда осталось только с честью погибнуть, научились умирать и скопом и в одиночку.

Нет, не легко давалась победа белякам...

Но впереди белых шел броневик и на броневике был живой Исидор... Но вражья музыка звучала победно. Оркестр был силен... И били кувалдами по головам партизан его звуки и рушили упрямое упорство отчаяния.

Была страшнее музыка оркестра огневой музыки пулеметов... Была страшнее ураганного артиллерийского огня... Страшнее свинцового ливня...

И эта торжественная парадная четкость поступи ратников Первого Железного Офицерского полка. Эта показная их храбрость и презрение к страху — хорошо послужили белякам для победы.

Полк этот необычайностью своей был страшнее дивизии. Впереди него шел броневик, сметал и косил партизанские цели, расчищая дорогу.

Невероятным, чудовищным усилием, вырвал Исидор из веревок и проволоки левую руку, оставив на них

кожу и кровь. Из последних сил надрывая горло, он что-то кричал, яростно размахивая левой освобожденной и окровавленной рукой...

Ветер ерошил и путал черные смоляные космы его волос и отбрасывал в сторону иступленный вопль.

* * *

Партизаны вынуждены были отступить к селу...

Был взорван мост у самых подступов села, проложенный через узкую речушку. Это послужило преградой для дальнейшего продвижения вражьего броневика.

Броневик расстрелял те две сотни партизан, что остались отрезанными при взрыве моста. Только одиночки спаслись из двухсот срезанных огнем пулеметов. Спаслись те, что пробрались под обстрелом через реку — ползком на брюхе там, где лед держал, вброд и вплавь там, где он проваливался и где его вовсе не было...

Со второй стороны села, за спиной сражавшихся партизан участилась перестрелка... То охранение обоза и сам обоз — раненые и женщины — отстреливались от наседавших беляков.

Партизанам осталась только одна надежда, — надежда на смерть в бою, а не в плену от вражьих рук.

Броневик подошел вплотную к берегу реки и стал в упор расстреливать отступившие цепи.

Партизанская батарея пыталась его подбить, но были считаны последние снаряды. Их осталось на три орудия — пять штук.

И уж готов был вырваться, и даже, правду сказать, у немногих вырвался позорный крик пощады, и уж

некоторые бросили винтовки, ибо у многих не стало патронов, как вдруг, неожиданно и вдруг, донесся с вражеского броневика остервенелый и торжествующий вопль Исидора:

— Батько спереду!!! Батько рубытца!!!

Дальнозоркий Иосиф Гарц, партизанский командир, почти одновременно с Исидором заметил панику в тылу у врага...

Бинокль подтвердил догадку... Комбриг ударил противнику в спину.

Иосиф Гарц своим надорванным голосом, сильно напирая на р-р, в экстазе закричал:

— Товар-рици, комб-рриг р-рубится впер-реди!

Оборвался и заглох оркестр Первого Железного Офицерского полка. Сорвался на самой победной ноте...

Вражий броневик повернулся лицом к своим... В это время партизанский снаряд угодил ему в спину.

— Ого-о-ой, комбриг спереду!!

— Наши конники спереду!!!

— Наши рубятца!.. Наши бьюты!..

И тогда перемешались цепи.

Тогда всяк жадно прорывался в первый атакующий ряд.

Тогда гуртом, ордой ударили повстанцы, торопливо перебравшись через наспех и кое-как заплатанный мост.

И глушил яростный вопль хриплых, простуженных глоток винтовочный треск и бранную скороговорку пулеметов.

Глухие удары прикладов, хряск треснувших черепов лязг затворов и сотни предсмертных воплей — покрыл грохочущий ржавый крик:

— Бей кадюку!..

— Рви беляков на портянки!..

— Бе-ей гада!!

И кадетов били.

Первый Железный Офицерский полк вместе с оркестром своим был вырублен начисто. Погиб и лег костями весь до единого ратника. Пощады не было, и редко ее просили.

— Офицерью крышка, каюк да ладан!

Рубали повстанческие шашки офицерье, и рука бойцов не наливалась усталю от рубки.

Генерал Зарубин—стреляный воробей, старый вояка, искавший в жизни только почестей, орденов и наград,—выплюнул вместе с кровью последний, жалкий хрип:

— У-у-у! Черны! Шваль!..

— Упал генерал Зарубин, задрогал левой, обутой в блестящую кожу ногой, заерзал, силясь подняться, уродливым комом мяса, ненависти и костей по земле...

Так и застыл, мертвым ухом и щекой прикрыв генеральский погон.

* * *

Комбриг Иван Малый, раненый пулей в живот, не сдал начальства и лично командовал разгромом и преследованием врага. Рану его не весьма умело перевязал фельдшер,— он же конник и боец первого эскадрона.

Рессорная тачанка мягко подпрыгивала на ходу, но у комбрига это „мягкое подпрыгивание“ отдавалось иглами в раненом животе. Лоб его, несмотря на холод и морозец, был густо усеян частыми, мелкими каплями пота.

То-и-дело под’езжали ад’ютанты.

— Красноярска сотня захватом узяла батарею. Орудия на ять, в полной справности.

— Трехдюймовки?

— Усе до одной.

— А снаряды де?

— За снарядов и разговор лишний! Завал, товарищ комбриг!

— Добрэ!.. Молодци!

— Они было построжки рубить и верхача... А наши их люйсами почти усех покосили... А охраненья что було, так с роту примером, так те своо офицера самочином в штаб Духонина, и до нас усе прибегли, токо бери!..

— Обезоружнили?

— А то как же, сами ружья покидали...

— Дабровольци?

— Не-е, думка у меня така, шо наблизованы.

— Мг... так... А орудья треба було зразу в дило...

— А рази не слышать?! Уже-ж бьют!

— Чую...— довольный ответил комбриг, вслушиваясь в гулки удары. Эхо вторило им гудящими раскатами. А с другой стороны, на взмыленной лошади, скакал ординарец с худой вестью.

— Иоську Гарца вбыло!..

— Насмерть?!

— Вчистую...

— Пулей?

— Шальною в лоб.

— Та-а-ак!—медленно, с приглушенным выдохом, проговорил комбриг.

— А ишо третий Бабичевский скадрон живьем було споймалы билого генерала, ихнего нашштабу...

— Ну-у!?

— Да тильке порубалы, сукины сыны!

— Зовсим?!

— К ногтю.
— Вели гукнуть сюды Бабицова!
— Слухаю, зараз!... А ишо, товариш конбриг, гнать бляков до самой Умани, чи не трэба?.. Бо кони дуже заморены, як бы зовсим не загнать насмерть.
— А хто гонять?.. Грэки?!
— Воны, товариш конбриг.
— Нехай Петро Вершок скаче вертать... Всих хай вертае назад до села... Чуешь?
— Чую, товариш конбриг!
Пар от взмыленного коня ординарца шел густой... Бока лошади были нещадно исхлестаны нагайкой.
Ветра не было. Падал снег, сухой и легкий. День клонился к вечеру.

Рана комбрига ныла и терзала болью все лютей и яростней. Комбрига знобило, мысли путались. Изредка он высовывал сухой и опухший язык, ловил на него снежинки и слизывал их пересохшими губами.

Возница — длиннорукий горбун с громадным чиреем на левой щеке, оборачивался часто назад, внимательно оглядывал комбрига любящими и тревожными глазами, упрашивал:

— Иван, а Иван, давай до обоза свезу...
— Успиём, Ефрем, успиём... Ще ни треба...

Горбун остановил лошадей, слез, оправил осторожно сено под комбригом, снял с себя кожух и укрыл им ноги Малого. Комбриг противился, но Ефрем его не слушал, отмахивался, брюзжал.

Тачанка снова тронулась шагом.

Перестрелка, то лихорадочная и четкая, то, в перебоях, совсем затихающая, уходила все дальше, вперед, по направлению к Умани.

С поля, в село возвращались победители, вели пленных, тащили трофеи, подбирали раненых.

На западе пылал кем то подожженный стог и за ним, в отблесках пламени, выросли группы всадников, возвращавшихся с погони.

У околицы дымились костры, кашевары готовили пищу.

* * *

Когда после боя из-под вражеского, подбитого партизанским снарядом броневика, извлекли Исидора Лютого, он еще дышал. Ноги его были раздавлены, и чья-то шальная пуля засела в груди.

Когда, очнувшись, взглянул и увидел Исидор над собой небо — высокое и чистое, без облаков, когда увидел на западе медный, сплюснутый солнечный шар, когда увидел обветренные, худые и крепкие лица партизан, сгрудившиеся подле...

Когда почувствовал на щеке холодок от ветра и услышал издали донесшуюся песнь горластых, чуть охрипших глоток:

Я на бочке сижу,
А под бочкой склизко...
Удержайте кадюки,
Партизаны близько...

Звериное, не знающее запрета и подавления, сильное и непреодолимое, как праотцовский инстинкт — желание жить стиснуло всего Исидора крепко-накрепко...

Огляделся Исидор, поводя ненасытными глазами, и вглядывался жадно и наспех.

Так жадно, словно и небо это, закатное небо первых морозных дней, и снежок, дырявыми холстинами

покрывавший землю, так что голыми стояли бугры, и зетлу эту, одинокую и голую с расстрелянными, перебитыми пулей ветвями — видел он в первый раз, в диковинку, и сроку глядеть было дадено — одна секунда. А увидеть все это, вобрать к себе внутрь, схоронить в сердце, в мозг и запомнить навек — надо было до зарезу...

— Ком...брига... Малого... хочу... поба...чить... — слабо, чуть слышно прохрипел Исидор.

Тачанка комбрига под'ехала к подбитому броневнику, у которого, на разостланной казачьей бурке, лежал раздавленный, раненый насмерть Исидор Лютый.

— Я тут... — шевеля сухими, запекшимися губами, сказал комбриг.

— Нашкодив...я, батько!.. Полк... сгу...быв!

Комбриг, превозмогая нестерпимую боль в боку, сказал, бросая тяжелые веские слова:

— Не-е-э, не нашкодив... ты, Исидор!.. Як бы булоб у нас бильше шкодников таких... не знав бы свит ни горя, ни нужды!

Не видя комбрига и только слыша его голос, Исидор Лютый, ворочая, как стопудовым булыжником, деревенеющим языком, трудно, придушенно, хрипя проговорил:

— А хиба... добрэ...я ратовав... за наше дило?!

— Добрэ, Исидор Лютый, добрэ!..

ГОРОДОК

1

Провинция. Девятнадцатый год.

Маленький, грязный городишко. Соборная площадь, базарная площадь, три церкви, синагога, тюрьма и гнилая речонка Немуть. Домишки тараканами расползлись вразброд, на пригорки и лощинки. Где кому понравилось, где кому надоумило, там тот и построился и осел. У базара близ синагоги, где дома погуще, а дворы потесней, скученно и душно жалось друг к дружке многодетное, пейсатое еврейство.

На улице грязь и осень. В огородах чучела. В домах уныние, страх, небылицы и слухи. Больше всего боятся обысков, реквизиций и постояльцев.

От обыска и реквизиций пропадает добро, нажитое торговлишкой, достаточки последние, замурованные в стенах, зарытые в землю, сокрытые в тайниках. Постояльцы — «товарищи» об'едают до чиста, девку того и гляди испортят, вшей принесут, не оберешься. От товарищей на Руси царя убили, непорядок, разбой пошел. От вшей болеть, хворь идет.

Копили недели тревожные вести: наступали беляки.

И в долгие ночи и на еврейских перинах, и под стегаными одеялами двухспальных кроватей домовитого мещанства, пропахшими десятилетиями супружеских отношений — думалось по-разному и все ж одинаково.

— На день, на день жидва Россию заполонила... на день. Не быть, не ходить православным под жидами. «Солнца затмение на один только день приходит, потерпите православные, Христово воинство близко»... — соборный поп надясь сказал. Правду сказал батюшка. Верное слово! Со дня на день ждать надо избавителей. — Тешили себя вчерашние купцы, домовладельцы, заправили. От радостных надежд и упований чесала улыбка усы и губы, приятная теплынь путала думы. Тяжело ворочалось бородатое, широколицее, пудовыми руками привычно облапывало жирных супружниц. Зевало, крестя рот, и засыпало с храпом и присвистом.

— Ой, боже мой, бог Израиля, что будет с твоим народом, коль придут те? Ой, боже мой, что будет с нашими домами, товарами, достатками, скопленными потными усилиями нескольких поколений, коль останутся эти. Уйдут сыновья от веры отцов, пойдет еврейское золото на дела чужеверов, погибнут дочери в разврате! И кто только может сказать, что для еврея лучше — чека или погром? Ой, боже мой, кто кроме бога знает, что для еврея выгоднее? — изжелта белые руки торговцев-толмудистов теребили длинные еврейские бороды, губы привычно нараспев твердили молитву.

По ночам качал ветер верхушки редких, городских деревьев. Ходили патрули, и эхо гулко отчеканивало

шаги. Иногда со стороны кладбища доносились залпы — то чека выметала контрреволюцию. В те ночи зло и долго захлебываясь лаяли дворовые цепные псы. На утро исподтишка и украдкой в соборной церкви служили панихиду по убиенным.

Я работал тогда в комендатуре этого захудалого городка. Стоял на квартире у старого Исрол-Давида Цалкинда.

Старик был «часовых дел мастер». Но, по его словам, в жизни видел больше горя, чем заказчиков.

— Ну, а потом пришла революция... и кому теперь нужно чинить часы. Но от каждого горя, кроме смерти, есть лекарство. Не стало у меня заказчиков, так, слава богу, не стало хватать и керосину, так я стал делать коптилки-лампочки, им надо мало керосину, а людям теперь стало надо меньше света. Отак колесо вертится, отак идет жизнь. Вы думаете, что я говорю, что мне плохо — так как-раз нет, а если вы думаете, что моя жена Хая-Ройзе когда-нибудь говорила, что ей хорошо, так вы тоже ошибаетесь.

Жена его — Хая-Ройзе — была женщиной худой и сварливой, с животом, выпиравшим вперед и как-будто извечно беременным. Голос ее, неприятный и резкий, как-то удивительно точно воспроизводил шипение сала на сковородке. Она всегда, мне кажется, от роду была чем-то недовольна. Главную причину, основную заговздку всех своих семейных бедствий она неизменно находила в своем супруге, в старом сгорбленном Исрол-Давиде. Утром и днем, и даже ночью она ела его поедом:

— Вы еще где-нибудь видели такое несчастье как мое? Вы еще где-нибудь найдете такого еврея, такого сумасшедшего как этот?! У людей мужья как мужья — зарабатывают хлеб жене своей и детям, а он умеет только думать и говорить умные вещи. Но что стоят эти умные вещи, кому они нужны?! Я вас спрашиваю?! А? С таким шлимазлом, как мой муж, отак пухнут с голоду, как я. Ох, смерти на него нет, холера на его голову.

Старый Исрол Давид говорил о жене своей беззлбно как говорят о давным-давно ставшей обыденной и наскучившей горести.

— Что же мне на старости лет разводиться с ней? Раньше я думал, что когда мне ее сватали, я ослеп и не знал, что за птицу я беру. Но когда я еще снимал полдома у столяра Грицке, так он мне сказал умное слово: — пани Цалкинд, говорит, все девушки нам кажутся ангелами, откуда же, скажите мне, говорит, старые ведьмы берутся. Но я вам правду говорю, мой шадхен, хай земля его выброси, лет десять как уж умер, но если бы я даже сына его встретил, — я бы ему бороду выдрал, так мне его отец насолил.

Странная эта была пара — старик с лбом мудреца и шелковистой, серебряной бородой и эта женщина худая и неугомонно придиричивая.

Однажды во время субботнего ужина, когда вместо праздничных ритуальных свечей, Хая-Ройза молитвенно зажгла две коптилки, одела парик и шелковый субботний платок, я сидел поодаль и наблюдал.

Я знал, что чужеверов не приглашают на субботний ужин, и имел мужество уважать чужие традиции и упорно отклонил приглашение разделить трапезу, сделанное, как мне казалось, по принуждению.

Это было в голодные дни девятнадцатого года, когда иметь вдосталь хлеба считалось если не роскошью, то крупным достатком. Но Хая-Ройза, мобилизовав всю свою изворотливость, все же сумела достать какую-то столь необходимую рыбу. Она победно поставила на стол тарелку с вкусно пахнущим блюдом, изготовленным со всем искусством умелой еврейской руки. Искусством, скопленным опытом многих поколений.

Они ужинали втроем — старик, старуха и дочь, единственная, оставшаяся с ними. Три других были выданы замуж и все в разные города, одна даже попала в Аргентину. А эта была старой девой — одна половина лица ее и черные матово блестящие волосы были хороши и привлекательны, а вторая была еще в детстве изуродована кипятком. Хорошее приданое могло бы этот дефект устранить, но часовых дел мастер был беден как сирота — ешиботник¹⁾.

Они ели... Я видел, как не устая ворчать, Хая-Ройза любовно выбирала и подсовывала самые лучшие куски под рассеянную вилку Исрол-Давида.

Старик ел невнимательно. Его челюсти жевали, а полузакрытые глаза, казалось, излучали радио-волны его нескончаемых еврейских дум. Хая-Ройза укоризненно вздыхала, огорченно, как-будто кому-то жалуясь, кивала головой. Понутри она была женщиной доброй и чуткой, но раздражительность и сварливость были неотделимы от нее, как от старого козла его запах.

От блюда с рыбой шел такой насыщенный перцем и пряностями аромат, что мой рот поминутно напол-

¹⁾ Ешиботник — еврейский юноша, живущий при синагоге и занимающийся изучением талмуда.

нялся слюной, и под ложечкой что-то алчно и жадно сосало. Я закрылся книгой и глотал слюну. Хотелось жадно с'есть хоть маленький кусочек этой рыбы.

2

Осень прощально шуршала палым листом. Обветренные лица дней румянились утренними заморозками. Взметая пыль, дули ветры с северо-востока.

Я сдал мое дежурство и пошел развеять по ветру муть, осевшую тяжестью в думах. Ветреные дни с детства и до сих пор манят и тянут меня из дому прочь. Мне хотелось и сегодня, не глядя на усталость неспящих суток, побродить хоть с час.

Я настойчиво отгонял тяжелившую мою голову сонливость, как гонишь с потного лица надоевшую упрямую муху. Я ее осилил и она ушла, нехотя и не сразу. Я шел с непокрытой головой, вдыхая пыль и воздух. Ветер путал волосы, щекотал открытую худую грудь. Становилось легко и хорошо.

Вечерело... закат зажег багрянцем окна. И горело, и рдело, и точно плавилось стекло. Каска пожарного на городской каланче блестела, как кусочек желтого бутылочного стекла на солнцепеке. «Лавочки» — скамейки, стоявшие у каждых ворот, поражали пустотой. Они издавна, еще при царе, были до блеска отшлифованы задами соседок и кумушек, ежевечерне сидевших на них и судачивших о том, о сем, о ближних и дальних. Теперь же запуганное бабье сидело взапертях, и все вместе, и каждая в отдельности, охо-хо-хали, ныли, исходили страхом и слезой. Только разве, что забежит на миг соседка — душу отвести, пошущукаться:

— Обирают товарищи православных, дочиста оби-

рают. Жидов небось а ни-ни... В чеке одни у них Срули да Соломоны, небось своих-то и жалко, не трогают. А наших до кости обглодали, остатки, последки и те им подай.

— И верно беда, конец приходит, Федосевна. И нет на них, на проклятых, ни мору, ни погибели. А на базаре чего намеднись бабы сказывали — переменяла тон соседка. — Антихрист, бают, вот-вот придет. Знаменья были. Попадья в Подлипне семипалого, всего в шерсти, родила. Прасковья Иванна сама своими глазами его, значит, видала, когда полушалок носила на муку сменять в Подлипно. И опять же, когда Курочкина Пахом Кондратьича, царствие ему небесное, — соседка, уронив слезу и мокренько улыгнувшись, меленько и быстро перекрестилась, — когда в чеке расстреливали, семь раз ведь оживал. Они его раз расстреляют, два расстреляют, семь раз расстреливали, а он все оживает, кричит им: «Бог жив и я живой». Только когда крест нательный прострелили, тогда только он значит дух-то спустил, представился, все же сказать успел: «Ваша, говорит, но не сила, Антихрист на землю идет». Предсмертное — вещее слово, Федосевна, и знаменья к тому же идут. Звезды с неба стали падать чаще. Советчики храмы оскверняют, землю паскудят... конец приходит Рассее... И чего молчит заступница. Ох-хо-хо, господи...

— Бросьте молоть-то — делать вам нечего, — решал беседу заглушенный, силпый бас «самого» — отставного владельца городской бойни. — Трепlesh языком, как сука хвостом, а чего — самой невдомек. Антихрист, антихрист — какой тебе к чорту Антихрист. Это только предлог твой глупый, воображение бабье. Дурью собственной мучишься, оттого-то и языку места никак

не сыщешь... Избавители идут, советчиков почем зря и в хвост и в гриву лупят. С часу на час ждать надо. А вы: антихрист, — дурей клопа, пробка, одно слово, а еще рассуждаешь... Конец, грит, приходит миру. Какой там к чорту конец. Товарищам, это уж верняк, каюк, а миру только начало. Поняла, и наперед теперь знай, — язык за зубами придерживай, копь голова, как барабан пуста.

— Да что ты Антон Поликарпыч, рази мы супротив что говорим... дай-то господи Иисусе христе, царица небесная, приведи избавителя... А что, как слышать, близко они-то?

— Близко-то близко... только триста верст до нас осталось. Да только тебе скажи, ты и почнешь звонить... за твой звон пустой, за язык длинный головой небось мне отвечать, ты-то чем ответишь...

— Рыбой буду, вот-те крест, рыбой. Слово теперь с меня не выжмешь, не вытянешь.— Соседка, кланяясь и переминаясь, прощалась и сразу же спешила поскорей ко всем, с измальства знымым, кумовьям, сватам и соседям принести приятную весть. Последнему из них она сказала, что белые уже в 40 верстах, что сил у них видимо-невидимо, что коммуна уже укладывается, бежать собирается; что она собственными ушами слыхала ночью бомбардировку.

Так росли слухи, росло злорадство. И я о них знал, но уныние не пятнало слякотью думы. Я шел легко и улыбался ветру. Лениво тянулись немного усталые, длинные мысли.

Домики с занавешенными окнами, и крылечками на улицу и в садик или во двор, глядели по-вечернему успокоенно и тихо. А там внутри — за стенами, пропахшими копотью насиженного жилья — там копоши-

лось злое, упрямое, враждебное. Там строились, обсуждались злобные, бессильные планы вернуть былую мощь отжившим дням. Там злорадно вели счет пораженьям, неудачам борьбы за грядущее.

Я видел и остро чувствовал их желание нашей гибели, их злопамятливый взгляд исподлобья, их губы, желчно шепчущие проклятье советам, жидам и коммуне. Это меня не тревожило, от этого только ширилась, набухла ответная ненависть.

Посреди соборной площади — там, где стояла построенная в день первого мая девятьсот девятнадцатого года «городская трибуна», размалеванная местным художником-футуристом Львом Крокодилиным (урожденный Лева Прицкер), известным, впрочем, только сослуживцам и знакомым и то скорей не как художник, а как завканц с придурью из Упродкома...

С этой трибуны уместней было показывать фокусы зевакам, чем произносить речи и выступать ораторам. Главный ее корпус был выкрашен в черный цвет и по этому черному фону беспорядочно и как-то пьяно были пущены ярко-красные, длинные, извивающиеся мазки. Крыша была желтого, а колонки, ее поддерживающие, голубого цвета. Красные пятна на черном фоне — согласно замыслу и судя по словам автора — должны были обозначать «языки пламени красного красноречия, сжигающие черную душу реакции».

И вот там, посреди площади, где стояло это «сумасшедшее паскудство» — как говорил Исрол Давид, перекрашенное майскими ливнями и осенней пылью в грязно-бурый цвет — на ступеньках его я увидел длинную, напряженно-съежившуюся фигуру.

Я подошел поближе...

Человек без фуражки с длинными волосами кудрявыми и густыми, с обрывком дамской черной шали, повязанной в виде галстука на голой шее, сидел неудобно скрючившись и что-то усердно писал. Одет он был в неисчислимо количество рваных пиджаков и тужурок, одетых одна на другую, и прикрытых сверху какой-то длинной до пят хламидой, напоминавшей старый засаленный плащ серо-бурого цвета. Все эти семьдесят семь одежек были без пуговиц и застежек и держались только на плечах, обнажая худую, заросшую черным волосом грудь.

Бледное лицо человека, обрамленное узкой полоской вьющейся черной бородки, было упорно сосредоточено. На высоком смуглом лбу выступали капли пота. Нервные пальцы красивой и грязной руки легко и быстро писали огрызком карандаша на обрывке оберточной бумаги длинные ряды каких-то формул и цифр. Очевидно он сидел так, не меняя позы, очень долго. На его спину ветер забросил два желтых кленовых листа. Они так и остались лежать там, лишь изредка шевелясь от утихающих, слабых порывов вечернего ветерка.

Камень, неловко пущенный мальчишкой в воробья и упавший почти перед его носом, заставил его встрепенуться.

Он встал, улыбнулся, устало и странно спросил:

— Скажите, вы не математик?

— Не-е-ет... — ответил я, пораженный неожиданным вопросом.

— Жаль, жаль... А я, знаете, чистый математик... Математика, знаете, это огромный сгусток человеческого разума. Цифры мне нужны как воздух. Вот если бы я смог жить в Лейпциге, ах, если бы в Лейпциге. А так

вы же сами видите, что скверно... А сколько я работаю? Я работаю, как лошадь водовоза. Я уже второй день высчитываю, сколько кур на свете...

— Что? Сколько чего на свете? — переспросил я ужасаясь.

— Кур! — спокойно и деловито ответил он... — По числу видите ли снесенных яиц. А сколько яиц — у меня уже готово.

— Я большой человек, — сказал он мне шопотом на ухо, пригрозив кому-то пальцем, — ах, если бы я был в Лейпциге — я бы... Ах... я знаете, изобрел... — он засмеялся, как бы вспоминая — я сделаю человечество бесполом... Это так нужно... Это вот как нужно... — указал он мне пальцем на свое горло и принялся его пилить так, что кожа покраснела. — Да это нужно... Я себе уже сделал, и знаете, хорошо, очень хорошо... Я удвоил этим, только этим мою гениальность почти втрое, вот по этой формуле, — и он, захлебываясь, прокричал мне какую-то длинную формулу с великим множеством корней квадратных, скобок и плюсов.

Выпалил он мне ее одним залпом секунд за 45 и на миг затих, закинув голову и всеми пальцами охватил высокий лоб свой.

— А евреи — вдруг схватил он меня за руку, пальцы его были холодны. — Евреи, знаете... да, да, но об этом ша-а — он откинул мою руку и погрозил мне пальцем. Потом вдруг тихо и разумно сказал:

— Не мешайте мне — не мешайте мне, прошу вас очень прошу, я буду работать, мне еще много... — Он сел на корточки, прикрыв босые ноги халатом и принялся снова усердно писать.

С'ежившись и пробормотав что-то несурзное я поспешил отойти. Обернувшись, я снова увидел его, сидящего с поднятой головой, опирающейся на простертые ладони его красивых рук. Узенькая полоска черной бородки, окаймлявшая впалые щеки, большой высокий лоб и лихорадочно горящие глаза, освещенные золотым багрянцем заката,— были воистину в тот миг прекрасны какой-то жуткой красотой.

За мою короткую юность я больше таких лиц не встречал, хотя и искал их голодно и жадно. Такими я представлял себе поэтов, еще тогда невиданных, неведомых мне.

3

Со стариком Исрол-Давидом мы подружились.

Я любил его седую, умную голову. Мне понравился его тихий говор, остроумие его речи, такое спокойное и словно нечаянное. Он ронял тонкий юмор и грустящую печаль своих слов, образность и красоту своих сравнений, не замечая их остроты,— ронял рассеянно и чуть печально, как роняет дерево осенние желтые листья.

Когда я пришел домой, день догорал медленно и неохотно, как догорает в полночь свеча. Старик сидел у раскрытого окна, пытливо бродил по небу глазами, искал третью звезду. Две звезды он уже нашел, а третью, даже с моей помощью, так и не смог сыскать.

Когда отыщет, найдет старик третью звезду, тогда кончится суббота, Хая-Ройза сможет сама, не зовя меня на помощь, разжечь самовар. Исрол-Давид обретает право прочесть вечернюю молитву, сможет, наконец-то сможет закурить.

— Нельзя быть нетерпеливым,—немного раскисаясь, говорил старик. Его правая рука каждый раз поднималась к пейсам, спускалась к низу, глядя бороду и собирая ее у подбородка в кулак.

— Ой, нельзя быть нетерпеливым. Долгое изгнание должно было, кажется, обучить еврея терпению. Так нет же, я вот сижу здесь и хочу скорей дожидаться третьей звезды. Ой, какой я старый дурак! Разве можно говорить своему богу, что еврею надоела суббота, что Исрол-Давиду хочется скорей закурить.

Стемнело... Старик помолился, постоял с шепчущими губами у восточной стены. Я угостил его крепким турецким табаком. Он свернул себе тонкую папиросу, и держа ее обкуреными кончиками двух своих длинных пальцев,— закурил, как лакомка, смакуя каждую затяжку.

Я рассказал ему о своей странной встрече.

— Ой, боже мой, это ведь сын моего брата, моего Бенциона!

— Вы хотите знать, почему он стал таким, почему он с ума сошел?— Так я вас спрашиваю:— скажите мне пожалуйста, разве можно смешивать старое, старое вино с водой, даже самой чистой.— Вы говорите нет, и я тоже сказал нет, но мой Бенцион решил, что можно. И когда он женился на этой толстой русской девке— он смешал старое, старое еврейское вино со скверной водой. Вы уж „звиняйте мне“, что я отак говорю о русских, но ведь вы же сами сказали, что для вас все равно, что русский, что поляк, что еврей. Ну, а для меня не все равно. Для меня тоже все равно, когда русский остается русским, а еврей—евреем. Но когда еврей становится Иваном, тогда мне очень горько.

— Даже самый лучший из всех других богов хуже моего бога. И знаете почему, потому, что он мой бог. Каждому свое дороже. Вы мне скажете, что вы в бога не верите, ой, не говорите. Ваш бог — „риволюцие“. мой бог и ваш бог две „парадочные“ разницы. Моему богу надо, чтоб еврей справлял субботу, чтоб он не ел трефное¹⁾. Вашему богу надо „риволюцие“, надо, чтоб за него умирали, делались калеками, оставались без рук и ног. Кажется лучше не есть трефное и справлять субботу, чем умирать. Так вы скажете как раз наоборот. И знаете почему, потому, что это ваш бог.

— Ну а мой брат — старик беспомощно развел руками, — ради одной толстой девки сменял старую отцовскую веру на веру погромщиков. И даже имя, когда перекрестился ему дали Иван. Кажется лучше Феодор, кажется лучше Моисей. Так нет ему как раз досталось Иван. Ну, а для еврейского сердца, Иван все равно, что для глаза паук.

А если б вы только знали, какая умная голова был мой Бенцион. Я против него дурак, я против него полено. И умер мой брат не так, как умирают евреи. Он повесился на собственном полотенце. И нельзя мне по нем говорить „кадыш“²⁾ потому, что не говорят кадыш после «гоя»³⁾. И даже «шиве» — мне пришлось сидеть по нем, когда он еще жил. Вы не знаете, что такое «шиве», — так я вам сейчас расскажу. Это когда у нас умирает еврей, так его родственники семь дней не сходя сидят на полу и семь дней печалются об

1) «Трефное» — запрещенная еврейским законом пища.

2) «Кадыш» — еврейская молитва, которую творят ежедневно в продолжение целого года со дня смерти покойника его близкие родственники.

3) «Гой» — русский.

нем. Ну, а по таким, как он, сидят «шиве» еще при их жизни, с того часа, как они отказываются от веры своих отцов, так говорит мой закон, закон моего народа. И я сидел «шиве», а он в это время играл свою свадьбу. Ах, если б вы знали, какое это несчастье, когда брат твой ест и ходит, а для тебя он уж умер, для тебя он все равно, что в земле лежит. Я вам говорю, если бы можно было посмотреть тогда в мое сердце, так там живого места б не нашли, там петуху негде было клюнуть, там было сплошь горе, сплошь несчастье.

Ну, а потом, и эта девка — несчастье моего Бенциона тоже умерла, и остался сын моего брата один. Он с ума сошел и ни один еврей не подаст ему и корочки самого черствого хлеба. Ну, а я пошел к раввину и сказал ему, что я хочу взять сына моего брата к себе. Пусть он ест мой хлеб, зачем чтоб его „гой“ кормили, я его буду кормить. Моего хлеба, моего горя и на него хватит. — Но раввин сказал „нет“: — „он с ума сошел“ — сказал раввин — „так это бог его наказал за грехи отца. А какой еврей посмеет делать наперекор богу, кто имеет смелость мешать богу наказывать? Реб Исрол-Давид, — говорит — вы — говорит — умный еврей, вам нельзя этого делать, вам даже вот с таким делом нельзя было ко мне приходиться“ — так сказал раввин. Ну, а я знал, что мой бог умней и добрее раввина. Я знал, что если бы я кормил бы сына моего брата, то это не было бы грехом. Я бы отак, как я вам говорю, отак бы и сделал... Но раз раввин сказал один раз нет, так моя Хае-Ройзе сказала тысячу сто раз нет. Ну, а что может быть глупее женщины, которая повторяет чужое слово, не зная его. Не даром же каждый еврей каждое утро благодарит бога, что он не сделал

его женщиной. Не смейтесь, я не шучу. — Исрол-Давид, в подтверждение, прочел звучный древне-еврейский текст ежедневной утренней молитвы мужчины.

Наша беседа оборвалась... Хая-Ройза звала ужинать.

После ужина, скудного, будничного ужина бедняка-еврея, когда я уже укладывался спать, а Исрол-Давид готовил фитили для завтрашнего производства лампочек, он мне рассказал о большом скандале, происшедшем накануне в синагоге.

— Богатым везде лучше... даже когда богу молиться, так богатому в синагоге первое место. Богатый может молиться и сидеть себе на своем месте, а бедняку в праздник и постоять тесно, — так я сказал сегодня в синагоге.

Так тогда подходит ко мне самый большой богач нащ (фамилию, вы же сами понимаете, нельзя мне вам сказать) и говорит:

— Ну, что вы пани Цалкинд, на это скажете? — Ведь, говорят, через неделю здесь будут белые.

— Что же мне сказать? — ответил я ему, — я знаю только, что еврею и теперь плохо, а тогда будет в сто раз хуже.

— Чем это будет в сто раз хуже? Кто вам сказал такое умное слово? По-моему, будет в тысячу раз лучше. И вообще, какой тут может быть разговор? — что это за власть? — я вас спрашиваю. — Ведь это же простые разбойники! Они хотят всех нас сделать одинаковыми нищими, а почему им не хотеть всех сделать одинаковыми дураками, ведь есть же и дураки на свете. И даже в писании сказано, что пока будет стоять свет, до тех пор будут богатые и бедные.

— Где вы это вычитали? — я его спрашиваю. — В писании, говорю я, сказано, что пока будут на земле

богатеи, до тех пор будут нищие пухнуть с голода. Отак это место, я говорю, надо и читать.

Так он «мне» тут назвал «пархом» и закричал, что я, во-первых, «задрипаный булшевик», а во-вторых, сумасшедший.

Получилась суматоха и крик. Тогда подошел раввин и говорит:

— Ш-шал! Теперь, говорит, не такое время, чтобы евреи могли спорить и вообще, говорит, зачем евреям спорить? Хватит и так несчастья на нашу голову. Евреи, говорит, должны думать одинаково.

— Почему, я говорю, ребе, мы должны с ним думать одинаково, когда у него, я говорю, пять собственных домов в городе, а у меня нет и пяти собственных стульев?

Отогда, как-раз подходит к нам бондарь Мендель, у которого две недели тому назад утопили бандиты сына, и говорит нашему богачу, что я таки прав. Так богач наш и его назвал «пархом» и сказал, что у нас в синагоге три четверти большевиков и что не даром-таки евреев режут и делают им погром.

Что же вы думаете, Мендель не выдержал, поднялся и спустил ему такую настоящую «плюху», я вам скажу, что прямо как гром.

4

День тосклив и пасмурен.

На улице грязь и в думах слякоть.

Город на осадном положении.

Наспех, усиливая тревогу, эвакуируются остатки наших учреждений. Партком и комсомол мобилизованы и стоят под ружьем.

Вчера были обнаружены расклеенными несколько погромных прокламаций:

«Для торжества православной России, единой и неделимой жида главная помеха. Коммунисты жидом Россию продали, власть дали жидовне над православными.

Жида перед расстрелом православных кипятком ошпаривают и обрезают по своему закону.

Глумятся жида над верой православной, храмы оскверняют и грабят.

Бейте, истребляйте, православные, жидов. Очищайте землю русскую от погани.

Разобьют избавители жидовскую рать, вступят завтра и в наш город, неся мир и хлеб православным.

Выставляйте, православные, в окна иконы, отмечайте двери крестами, чтобы не было ошибки, чтобы не погибли невинные.

Бейте жидов...

Истребляйте до чиста коммуны.

С нами бог».

Ночью на окраине уже успели вырезать какую-то еврейскую семью.

На утро несколько юношей-евреев пришли в Комендатуру просить винтовок для организации самообороны.

Комендант отказал наотрез:

— Сейчас, товарищи, обороняется советская власть от врагов, которые целой сворой... Кровью народ весь исходит и винтовки, товарищи, нужны, чтобы обороняться, а не баб да свою шкуру сторожить. Может и мою халупу Колчак сожжет, да жену офицерье разложило... Теперь час не баб сторожить, а революция в опасности. Коль хошь на фронт, бери винтовку,

шпаль, спасибо скажем... Все равно, ежели советская власть останется, вас и пальцем не тронут, а ежели нет, то вас и пушки не спасут... Понятно, и разговору нет и не может быть.

Понуро ушли ни с чем делегаты, огорошенные суровой правдой комендантской речи. Отойдя, долго о чем-то спорили на своем быстром языке. Один из них все же вернулся, вместе с нами отступал и был убит в бою под Бахмачем.

* * *

Партийный комитет и комсомольский мобилизовали всех своих членов для отправки на фронт. Это дало еще 29 бойцов. Все остальные уже были под ружьем.

Три дня, как об'явлена запись добровольцев. Явилось только семеро — все больше молодняк.

Один из записавшихся — коренастый, рыжий молотобоец пришел прямо с сундучком и котомкой. Жена его худая и высокая, с ребенком на руках, держала мужнин рукав и бранилась, и упрашивала, заливаясь обильной бабьей слезой.

— Ванька, да что же ты... ну.. да на кого же ты меня с Лешкой покинешь, а! Ведь только год, как с плена пришел, креста на тебе нет!.. Да что же мы есть-то будем, как ты уйдешь?! А ну как тебя убьют?! Ведь убьют же, окаянный ирод ты, вот кто!.. Время выбрал. Ума ни столечки нету... Да и не пушу я тебя, дурака!.. Люди, добрые, смилостивьтесь! Товарищи миленькие! На кой он вам такой... а? Отпустили бы, Христа ради... Не пишите его, ни к чему он вам, окаянный!

— Пиши, парень, пиши! Половинкин Иван Фомич, своей, мол, собственной охотой, за пролетариев по-

стоять. Человек я в автономности полной. Баба без меня четыре года, как в плену был, жила, чуть с годом не подохла и теперь проживет, не впервые.

* * *

Город в тот же день был взят беляками обходом не с той стороны, откуда мы ждали врага.

Мы отступали, беспорядочно отстреливаясь, не оглядываясь, оставляли за собой трупы павших и вопли раненых.

Жужжали вслед нам «пчелки» — пули.

Бранной, злобной скороговоркой стрекотали вражьи пулеметы...

Над головой рвалась шрапнель.

Я бежал из городка даже не простившись со стариком Исрол-Давидом Цалкиндо.

Мои вещи — мой тощий мешок и любимый японский карабин так и остались у него. Опаска быть отрезанным пересилила крепкую давнюю любовь к карабину и желание в последний раз увидеть старика.

* * *

Прошел месяц — тридцать дней жестких боев и больших переходов, тридцать длинных маятных дней.

В мозгу моем, как всегда, в те кочевые дни, уж истерлась память о городке и его обитателях.

Неожиданно командиром нашего полупартизанского полка был получен из штаба дивизии шифрованный приказ:

«Во исполнение полученных предписаний из центра приказываю: всеми имеющимися в вашем распоряжении наличными силами зайти в тыл противника и занять Волотоп.

Город и, главное, станцию необходимо удержать за нами в течение 5 суток, не взирая ни на какие потери.

Во всех, лежащих на пути продвижения, селах вербовать добровольцев. Связи со мной не терять.

Об исполнении донести немедленно.

Начдив 158 (подпись).

Начштадив (подпись)».

Бои были упорны. Силы противника превышали наши. Наша конница после столкновения с офицерским батальоном, оставила на месте стычки половину своего конского состава. Ценою двухсот выбывших сабель был опрокинут враг.

Наша пехота потеряла около трети штыков убитыми и тяжело ранеными. Легко раненые оставались в строю или в обозе.

20 октября в 17 ч. 30 м. вражий флаг на городской каланче был изодран в клочья жадными мстительными пальцами. Красный вымпел был поднят на шпиг.

Три дня вражеской артиллерийской подготовки, превратившие белое здание вокзала в груды обгорелых развалин и множество городских домов и домишек, разнесшие в щебень и щепы... Штурмовые колонны лучших частей противника, вооруженные ручными пулеметами, не могли одолеть нашу стойкость.

Город пять суток был в наших руках...

Помню первый день вступления. Цепко держит и ныне его моя память, очень долго еще будет держать.

Ветер хлесткий, резкий и морозный ветер рвет полы шинели, иголками забирается в кончики пальцев, держащие карабин на изголове...

Ветер хлещет холодом в лицо, ветер гнет деревья, ветер рвет листы железа с крыш.

Пусты улицы, занавешены окна в домах, на все запоры заперты двери, калитки, ворота.

У длинного досчатого забора, где так знакома приевшаяся глупая надпись полуаршинными буквами: «Мочица висьма строго воспрещается», лежал изуродованный труп безумца, высчитывавшего лишь месяц тому назад, сколько кур на свете. Отрубленная рука со скрюченными пальцами валялась рядом. Голова была проломлена прикладом и оттуда выплыли мозги. Один глаз вывалился наружу, а в застывшем стекле второго так и замерла, так и осталась невысказанной смертная мука. Ворот и левое плечо халата и множество пиджаков и тужурок мертвеца были покрыты огромными темными сгустками крови.

Худой, голодный, покрытый паршами пес облизывал булыжник мостовой, пожирал застывшую кровь и мозги безумного математика.

Мы приблизились... Собака, голодно урча, отбежала поодаль.

На заборе корявыми, кривыми буквами было наложено углем:

«Зарубан як жид, христопродавец, та комуна».

Под этим надгробным словом было другое, исполненное канцелярским кругленьким почерком с выкрутасами;

«Жид крещеный, что вор прощенный! Так им мерзавцам и надо!»

Я побежал дальше... В еврейских домишках были выбиты стекла, сорваны с петель двери, на полу была кровь и валялись трупы. Оставшиеся в живых выли и причитали над ними. Каждому из оставшихся приходилось оплакивать сразу многих мертвецов.

На пепелище спаленной погромщиками синагоги бродило каких-то три длиннородых согбенных старца в выцветших рваных лапсердаках.

Немощными, высохшими пальцами они искали в грудке обломков обрывки пергамента сгоревших священных книг.

Несколько женщин и детей, рыдая, целовали обгорелые кости отцов, братьев и мужей, сожженных живьем в синагоге.

Скорбные вопли обезумевших женщин застревали в ушах, когтили и царапали сердце.

Исрол - Давид Цалкинд, мечтательный философ, шестидесяти семи лет, лежал на крыльце своего дома.

Борода его — длинная, шелковисто-серебряная борода, к которой ни разу не прикоснулись ножницы, была сбрита несколькими ударами казацких сабель. Ключья ее вместе с обрывками щек валялись тут же рядом на ступеньках. Жена его, Хая-Ройза, с проломленным черепом высовывалась из окна и мертвые руки ее были простерты вперед.

А дочь... дочь изнасилованная, оскверненная убийцами отца и матери, осталась жить и лежала теперь смертельно больная у соседей.

* * *

Пришла ночь... Темная ветряная октябрьская ночь.

Потонул городок в темноте и страхе... Бродят по городу темные фигуры победителей, ходят зоркие патрули усталых, оборванных красноармейцев.

Притаился город, затих и не дышит. Пришибленно, с опаской колотятся сердца городского мешанства. Плача и стона, сторожит в ночи непогребенные трупы

уцелевшее еврейство. И только волчьими голодными глазами светятся в темноте окна штабов.

Упорно, яростно, по-волчьи штаб не хотел упускать добычу, не хотел сдавать городка.

На утро противник перешел в наступление.

Вражья батарея неустанно слала один снаряд за другим. Два из них изумительно метко попали в одну из церквей. Сбили колокольню, крест и превратили в груды мусора иконостас.

Велики были наши потери, раненых некуда было класть. Если бы не лихой налет нашей конницы, изрубившей всю орудейную прислугу врага, город был бы сдан раньше срока.

Перед нашим уходом по приговору особой тройки были расстреляны:

Церковный староста соборной церкви — благообразный клинобородый старик с виноватыми глазками, и еще двое именитых дородных степенств и местных купчишек:

- «1. За организацию и идейное руководство погромов (выпуск рукописных прокламаций).
2. За взятки золотом и бриллиантами, принятые от местных богачей евреев, с тем, чтобы эти богатеи были исключены из числа (жидов, подлежащих уничтожению)».

После нашего ухода местное духовенство и несколько профессиональных кликуш объявило их убиенными мучениками.

Панихида по расстреленным страдальцам «за веру Христову» и молебен за дарованную христову воинству победу совпали: посему у соборного колокола пропали ликующие пасхальные ноты и окрепли похоронные. И хоругви не реяли радостными птицами, вяло опу-

стились и поблекли цветы на венках. Сверху плачевно мелкими каплями падал дождь. Соборный протоиерей и тот потерял прежнюю зычность в голосе и плавность движений. Поп и молебен и панихиду служил без былого увлечения и немного наспех. Победное воинство, присутствовавшее тут же, на площади, имело скорее пьяный, чем победный вид.

Дрогнула в сердце обывателя вера в несокрушимость белой, вновь пришедшей власти, вера в силу избавителей.

Поколебалась, рухнула надежда на возврат былого.

РАССКАЗ О ШЕСТИ ДОКУМЕНТАХ

ОТ АВТОРА

В Туапсе — маленький портовый городок Черноморья, который надеется вырасти когда-нибудь в Гамбург — я заглянул в дни моих скитаний по Кавказу, в лето от рождества христово тысяча девятьсот двадцать шестое.

В маленькой армянской лавчонке близ духана с дикой вывеской

*СТОЛОВАЯ И ШАШЛЫК
ИЗ МОЛОДОГО БАРАШКА
„КОНКУРЕНЦИЯ И ЧИСТОТА“
ПАНИКА КАНАЛИДИ*

я купил полфунта брынзы, и мне завернули ее в измятый лист исписанной бумаги.

Я пошел на берег Туапсинки, — которая никогда не станет гамбургской Эльбой, — и там, сидя на придорожном камне, развязал мой дорожный мешок.

Я ел с торжественной медлительностью, усердно и долго прожевывая каждый кусок. Намеченный план

скитаний приближался к середине, деньги близились к концу. Дневной порцион, после долгих прений с самим собой, пришлось уменьшить, чтобы не урезать плана.

Купленная брынза была съедена, крошки были тщательно подобраны. И только тогда взгляд мой, уже не зачарованный видом пищи, смог разглядеть и прочесть ровные строчки, вымокшие в соленом соке сыра.

Из этих строчек, написанных твердым почерком властной руки, глядел на меня обрывок приказа:

«...приказываю, чтоб бойцы лишнего оружия не присвоивали, чтоб больше не было ни одного бойца с двумя седлами, револьверами иль саблями.

Все захваченное в бою оружие должно сдаваться в штаб, потому как добровольцев пишется к нам много а оружия нехватка...»

Я прочел... И мои затрепетали ноздри от волнующего острого запаха гражданской войны.

Дыханье тех больших мятежных дней, обстрелянных великими сраженьями, израненных голодом и мором — дыханье тех дней обожгло мои думы.

Казалось, что уши мои снова явственно слышат огневую музыку перестрелок, что глаза мои настороженно и пытливо вглядываются в темь, в беспокойном предчувствии ночных атак, что и ноги мои устали не от горных скитаний, а от длинных переходов отступающих частей.

Я побежал, дрожа от нетерпеливого волнения, к армянину, продававшему брынзу, и нашел его в ленивой безмятежности курившего трубку.

Я купил у него весь запас его оберточной бумаги. Дорого заплатил за высказанную радость находки, за торопливые ищущия движения пальцев, перебиравших измятые страницы брошенных бумаг.

— Приходы завтра... Ишо болшэ будэт... Ишо лучше будэт...

На утро следующего дня он достал мне целый ворох исписанных страниц: переписка фирмы Нобель за 1914 год; копии каких-то длинных протоколов долгих тыловых заседаний времен первого года нэпа и еще какую-то кучу никому ненужных, негодных бумаг.

— Нет, друже, это мне не годится... И даром не возьму!— угрюмо сказал я, собираясь уходить.

Армянин не пускал меня, держал за рукав, орал, что я его ограбил.

Ох, много, много проклятий сыпалось мне вдогонку.

Жилистые, узловатые кулаки армянина грозили мне — уходящему, не смогшему осилить смеха, — бегущему, согнувшись от хохота.

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ

(Написан на двух листах линованной бумаги довоенного образца, пожелтевшей, очевидно, от долгого хранения).

ТОВАРИЩУ КОМИСАРУ НАЧАЛЬНИКУ СОВЕЦКОЙ ВЛАСТИ

станции Горобеевой со всей окрестностью, хуторами и станицами к ней приписом перечисленных.

Пришлой крестьянки Черниговской губернии, Новозыбковского уезда, Белоколодезьской волости, села Дурни, Куценко Анны Гавриловны, местожительством ноне обретающейся на хуторе Стародубском близ станицы нашей Раздольной опять же к вашей подначальной станице Горобеевой приписанной.

ПРОШЕНИЕ

на щет суда и управы

Покорнейше и слезно прошу Вас, Товарищ Комисар Начальник, как советца власть на защиту бедности

пристоящая есть, обратить внимание на жалобу мою — и не оставить без суда долю мою почти вдовью и детей моих малых, хуже сирот.

Октября сего месяца, а числа 2-го, если считать по старому числу потому как новому за коротким пребыванием в нашей местности советской власти до сих пор не обучены. Выехала я спозаранку, с малолетним сыном моим Федором, на лошади — мерине девяти годов гнедой масти — и с телегой за мужиком моим, Никитой Архипичем, в город, в больницу. А мужика моего пятая неделя как обезножило, по причине неосторожного переезда. И обезножило его в чистую, одни культяпки от обоих ног остались. Так что сами видите, что не работник он у меня, а только хлебом кормить и еще присмотру, как дитя малое требует. А самому большаку Федору тепер у меня осьмой только год идет.

Теперь понятно воистину и без сумления должно стать Вам Товарищ Комисар Начальник положение мое горькое и судьба хуже вдовьей, тем более, что нездешние мы, а пришлой народ, безземельные.

Ехала я значит, с самой зари и думала на поночлег остаться в станице Горобеевой, да тьлько мерин мой некованный, а земля на проселке от морозу как камень, и пришлось мне к Горобеевой станице совсем ночью почти к свету под'езжать.

Не доезжа до нее версты за три догоняют вижу меня трое верхами. Захолонуло, застыло у меня сердце от страху — только вижу будто свои товарищи, вроде тех, что у нас на станице постояльцами. И были все трое они в солдатской военной форме и при кокардах значит Советской Красной Звезды.

Догнали они меня и показывай, говорят, баба, документы! А я им в ответ значит говорю:

— Какие у бабы могут быть документы, тем более при муже калеке? И еду я с сынком моим — объясняя я им всю правду — за мужиком своим в город, в больницу.

Тут зажег один из них серник и прямо в глаза мне светит. И сволокли они меня наземь и все втроем меня силком испозорили. Отбивалась я всеми силами — Христом богом молила не позорить матери на глазах у малого дите. Но где же совладать бессильной женщине с тремя казаками.

И выпрягли они моего мерина из телеги и прямо с хомутом и сбруей угнали. Одну дугу да оглобли, да телегу без коня посреде степи оставили.

И обобрали они меня дочиста. Шубу нагольную с меня сняли почти новую, романовскую, с расшивою и бурку, что мужика укрыть везла, хлеба две ковриги цельных и сала оковалок фунтов на десять — все чисто забрали.

И был один из них при усах и шрам во всю щеку вроде сабельной, а двое других бритые и мало приметные.

И подозрение ведет меня на ваших солдат, Товарищ Комисар Начальник, и прошу я Вас слезами горькими нащел суда и управы.

Положенье мое Товарищ Комисар Начальник, хужего не сыщешь.

Как же я это теперь опозоренная буду детям моим честной матерью и мужику моему законной женой.

И прошу я Вас покорнейше, слезно молю я Вашу Милость, найти душегубов моих и воротить мне добро мое — мерина гнедого девяти годов, сбрую ременную, шубу нагольную, романовскую с расшивою и бурку мужнину почти не надетую.

И еще прошу я Вас наказать злодеев моих по всей строгости, в чем и подписываюся:

Куценко, Анна Гавриловна

А за нее неграмотную расписался и прошение написал и составил бывший Георгиевский Кавалер и действительный инвалид Германской Войны —

Георгий Кузмич Лопухов

ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ

(Написан крупным мужским почерком, рукой, с детства привыкшей к перу)

КОМАНДИРУ И ВОЕНКОМУ 105 ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ тов. ВОРОХОВУ

Военкома I эскадрона — Болотина

Довожу до Вашего сведения, что мною арестованы и обезоружены 3 красноармейца вверенного мне эскадрона Охромов Ф. М., Град К. П. и Несвояхата И. Л., заподозренные в участии в изнасиловании и ограблении гражданки Куценко.

Копия заявления Куценко и протокол очной ставки при сем прилагается.

Хотя по отношению к трем арестованным никаких изобличающих их вину вещественных доказательств обыском обнаружено не было, но следующие обстоятельства с полной очевидностью доказали мне их виновность.

1) Заочное описание гр-кой Куценко числа, одежды и примет на нее напавших (усы и сабельный шрам на щеке Несвояхаты).

2) Указанные кр-цы в ночь на 16 октября, т.-е. в момент совершения преступления, находились в конном дозоре за пределами станицы.

3) На очной ставке как сама гр-ка Куценко, так и семилетний сын ее, привлеченный к опознанию вне присутствия матери, признали в пред'явленных им кр-цах грабителей, на них напавших.

Обращая Ваше внимание на тот факт, что при исполнении моего приказа об обезоружении все трое кр-цев, а в особенности Несвояхата, пытались оказать сопротивление,

полагаю нужным немедленно передать их суду Реввоентрибунала, выделенного из политсостава нашей бригады, и судить их тут же на месте, с участием представителей от трудового казачества, для укрепления основ советской власти на только-что освобожденной от ига белых области.

Так как приговор будет неизбежно только один — к высшей мере, то такая жестокая кара послужит уроком для тех из наших бойцов, в которых еще живы традиции партизанщины, и покажет им, что мы — регулярная часть Красной армии — с железной и стойкой дисциплиной, а не партизанский отряд, зараженный всеми недостатками батьковщины.

Жду Ваших распоряжений.

Военком I эскадрона — Болотин

ДОКУМЕНТ ТРЕТИЙ

(Написан трудным корявым почерком на двух листах сахарной оберточной бумаги).

Докладаю вам, товарищ Комиссар, в письменном виде, что хотя я и под вашим началом хожу, но и сам, прошу не забывать, отделенный командир и на груди

у меня, товарищ комиссар, не плевков застыл, а орден Красного Знамени за геройство революции и за красную беспощадность с врагом. И товарищи мои бойцы выверенные тож не однажды, и жисть свою за совецку власть способны угробить, и не трясутся за нее нисколечки.

Докладаю вам, товарищ Комиссар, в полном абсолюте, что оскорбление вы нам строите кровное, потому как сучий язык, бабий наговор, у вас силу имеет, а наше слово для вас легкое.

И со стороны нам известно стало, что мысль вы имеете порешить нас расстрелом, как самых что ни есть последних беспощадных врагов Республики, в то же время, как мы есть бойцы за правду рабочекрестьянского нашего народа, в красном геройстве даже очень и не раз отличенные.

А что для нас хуже хужего, что смерти неисчислимо раз горьше, так это, — что в позор нас введено очень уж срамный, — то, что обезоружили нас и с коней поснимали. Потому как винтовки да сабли наши, еще в семнадцатом годе кровью добытые, до самого того последнего срамного часу были при нас неразлучными. И даже, когда случалось в госпиталя нас класть ранеными — с нами вместиах и оружие ложилось. До того самого обезоруженья, были мы красные народные бойцы в почете и красоте полной, а теперь все равно, что вражьи шпионы, такая теперь на нас оглядка.

Потому, лучше человека пулей изничтожить, как она есть вещь чистое, бессрамное, а со смертью мы, товарищ Комиссар, осьмой год перемигиваемся, свыклись. А до такого позору великого передо всем полком довести — эта казнь неслыханная по срамоте своей и по лютости. И в ответе вы за нее будете преогромном.

А что касается самого дела, если судить по возможности, то вся обстоятельность в нем лживая, наговорная и веры к себе иметь не должна. Потому как мерин, тулуп, и бурка, хлеб да сало той гражданки, что на нас, как на последних шкуродеров, показанье делает — нам ни к чему были, все одно, что кобыле второй хвост.

Корысти такой у нас не могло быть, и даже интереса никакого, потому, как хлеба да сала у нас у самих хватает до обжору, раз стоим мы постоем на хозяйских хлебах, а станица, всем известно, не об'едена нисколечки, потому как она от железной дороги и даже от шосса далекая.

А про бурку и тулуп и говорить нечего. Бурки у нас у самих, само понятно, имеются, а про тулуп бабий и думать нечего — раз в нем у нас же такая же потреба, как в белье на глазу.

А если вы про мерина думаете, то думка ваша неверная. Кони у нас у самих, сами небось знаете, заправские, всей бригаде на диво — огонь, а не кони. Так что для обменки у нее мерина брать нам и не стоило, потому, прогад и невыгода. И если кому сказать, в веру не возьмет, смеяться станет — потому смехота одна чтоб в обменку на наших кровных жеребцов загнанных мерин у баб отбирать. А если думать что для загонки, для продажности, то в одну ночь куда продать и кто купит. А коня в незнамой станице, все одно, что шила в мешке, никуда не скроешь.

А что касательно изнаильничья, так это мы свободно докажем наговор. — Потому с Охромовым стою я в одной хате и одной бабой, с ее полного согласия, пользуемся. И баба тая есть никто иная, как хозяйска дочь — Аграфена, а по отчеству Дмитривна, и фа-

милия ей будет Бочка. В случае чего, она даже показать в полной силе, что отказу в ласке от нее мы не видели ни единого разу, и были мы от нее в полной мере, и тая гражданка, что на нас показывает, с ней и в сравнение пойти не сможет, такая она есть обрыдлина.

А что касаето третьего нашего товарища, то хоть Кузьма Град на какую бабу показать и не в силе, но опять же гражданка тая твердо говорить, что в черед ее все трое насильничали, а раз так, то и Град выходит тут непричемный.

Опять же упреждаем вас, товарищ Комиссар, что в ответе будете сильным, потому как нас передо всем эскадрон вы неслыханно люто испозорили, в чем руку свою и прикладываем.

*Иван Несвояхата — Отделенный командир
второго отделения первого взводу*

Охромов Фома — Боец первого взводу

*А за неграмотного бойца тож первого взводу
с его полного согласия, за Кузьму Града мы двое:*

*Иван Несвояхата — Отделенный командир
второго отделения первого взводу*

Охромов Фома — Боец первого взводу

ДОКУМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ

В ШТАБ 105 ОТДЕЛЬНОЙ КАВЕРИГАДЫ

Комэскадрон 2 — Громко, Ивана

ДОНЕСЕНЬЕ

В райони расположенья моего эскадрона, во время ночной облавы на плавнях захвачено було трое бандитов. И во время захвата був убит бандитской пулею

доблестный боец второго эскадрону Мишук Федор, которого мы с честью, як полагається, и сховали.

И отобрано було военного снаряженья и цивильного имущества у трех бандитов, про которых выше рапортуя:

- Коней 4 (четверо) трое жеребцов под седлами и один мерин под крестьянской сбруею и вси, як один, гнедые.
- Винтовки 2 (двое) обидьви в полной справности.
- Обрез 1 (один).
- Сабель казачьих . 3 (трое штук).
- Патронов без счету.
- Кожух 1 (один).
- Бурок 4 (четверо штук).

Нащет бандитов рапортуя, як один сбежать собрався, пришлось пристрелить, двоих других живьем на ваше распоряженье при сем рапорти направляю под охраною.

Нащет имущества и снаряженья, опять же при сем рапорти в штаб бригады переправляю.

Нащет Мишука Федора прошу приказом з числа бойцов заключить и з бумаг вымарать.

Показанье с двоих живых бандитов снято, а убитый на месте закопан. И назвались они казаками станицы Ахматуринской — один Городенный Григорий, другой Титаренко Степан, а убитого тож об'явили казакон станицы Ахматуринской, Безбородько Иваном.

И спасались они вси в трех плавнях от нашей Советской власти. А нащет кожуха и мерина в крестьянской сбруи — показанье дали, будто проезжа баба

була ими обобрана. А остатни кони и вооруженье свое, какут, було собственное.

Окромя сего случая во всем райони расположенья моего эскадрона спокойствие полное.

Комэскадрон 2/105 Иван Громко

ДОКУМЕНТ ПЯТЫЙ

Весьма срочно
Совершенно секретно

*ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ТОВАРИЩУ
КРОТОВУ*

Копия — Военкому Болотину

Приказываю дело немедля прекратить.

Военкома Болотина шлепну на месте, или пусть стреляется сам, если только Несвояхату и двух других уже успели пустить в расход.

Действительных бандитов направляю немедля до Вас и самолично приехав бы, если б не нога.

Комбриг и Военкомбриг 105 Ворохов

ДОКУМЕНТ ШЕСТОЙ

(Текст документа изложен на двух листах писчей бумаги, испсанных с обеих сторон. Подписями — с закорючками и без закорючек, полуграмотными и почти неграмотными — заполнено еще пять таких же листов.)

Товарищу Комбригу 105 отдельной Кавбригады от бойцов первого взводу всех до единого, а второго и третьего взводов, опять же всех исключая шестерых: Командира третьего взводу Фарафонова Ивана, и бойцов — Иванова Павла, Степанчука Ивана, Колупова Трифона.

Годи Митрия, и еще Командира нашего эскадрону Коцюбы Кузьмы Васильича, как они есть хоть и партийные, но общему нашему мнению не согласные.

ЗЯВЛЕНИЕ И РАППОРТ

Докладываем до вашего сведения, что с сего часу военкома нашего товарища Болотина за комиссара своего считать беспрекословно нет никакой возможности, и никакого подчинения ни в бою, ни в резерве, ему от нас и ждать нечего, и вся личность его для нас потерянная.

Просим вас все скопом нам припятствия в этом деле не строить и назначить нам нового комиссара, которому с полным сердцем пойдём в подчинение.

Два с лишком года, мы под вашим приказом ходили, доблестный товарищ Ворохов, Трофим Егорыч, как вы есть наш товарищ Комбриг. Два года под вашим началом с офицерьем и разной буржуазной нацией в гражданской войне пребываем и никакого самого малого отрыва от боевой дисциплины за нами не значилось и по теперешний день не числится.

До этого военкома, был у нас, дорогим комиссаром нашим, товарищ и братан ваш родной, Ворохов Андрей Егорыч. С того самого памятного дня семнадцатого году, как мы золотопогонников наших раскомандирили, и распатронили все офицерье начисто, комиссаром мы его себе выбрали и рубились беспощадно, в неисчислимых боях под его командою с беляками и бандитами.

С того самого печального часу, как истый геройский боец за Трудовую Республику дорогой наш и бесценный Комиссар — братан ваш родной — Ворохов Ан-

дрей Егорыч был зверски зарубан вражьими шашками, — с того самого печального незабываемого часу, служит он нам вечной памятью и примером цели для всех.

И после такого комиссара назначили вы нам своею волею Военкомом Товарища Болотина для такой чести совсем непригодного, который троих из нас передо всем эскадром и перед полным как есть станичным сходом испозорил вконец. Тем более, кого-ж?

Командира 2 отделения 1 взводу Ивана Несвояхата, которому первому из всех бойцов и командиров бригады Орден Красного Знамени даден был, и еще двух всем известных заслуженных бойцов — Охромова Фому и Града Кузьму.

Мало того, что обвинил он их неслыханно люто, будто безоружную бабу в черед все трое изнасильничали и ограбили, мол, дочиста, так еще при полном скоплении народа и при всех нас в здешней школе допрашивал и судить заставил Революционным Военным трибуналом, все время издевку имея над ними, как над самыми последними бандитами, которых они же беспощадно рубали в неисчислимых, бесчетных боях.

И растрелял бы он их как последних гадов — если б хоть на день опоздала бумага, ваша, дорогой наш товарищ Комбриг, с полным объяснением истины дела, как случилось.

А такой комиссар, что трех своих лучших, всем известных бойцов, ни во что не ставит, у которого бабий наговор безо всякого доказательства такой перевес имеет, что под расстрел бойцы подводятся, а прошение всех бойцов с полным ручательством головами всего эскадрона, безо всякого внимания умалкивается втуне — такой военком не командир револю-

ционный есть, а судейский чинуш и прихвостень старорежимной правки, и в революционные комиссары нет у него ни таланту, ни годности.

И решение, товарищ Комбриг, у нас твердое — под расстрел лучше идти, а с таким военкомом не оставаться.

Какая будет на то ваша воля, так мы и согласные.

Только просьба наша к вам великая — принять наши боевые заслуги под Екатеринодаром, в Астраханских степях, на Украине и на Кубани в полное внимание и уважить наше заявление — Комиссара назначить нам другого, а этого совсем от нас убрать, чтобы в эскадроне его и вовсе не было.

И еще просим вас, товарищ Комбриг, тую бабу, что на наших бойцов показывала, и тех трех бандитов, которые ее насильничали — на наш суд отдать.

Будем судить мы их всем эскадроном единогласным решением — и какое решение наше будет, такой и будет приговор.

Под этой второй нашей просьбой всем эскадроном, кроме командира нашего тов. Коцюбу, Кузьмы Васильевича, и те пятеро, что на смену военкома несогласные, то ж подписываются.

На документе 293 подписи за себя и за неграмотных,

РЕКВИЕМ ОНУФРИЮ ШКОДЕ

I

Удачные замыслы приходят всего больше незначай. Надуманные темы — зерна, брошенные в бесплодный, как кастрат, сухой и рыжий песок. Искусственное удобрение, орошение и тщательный уход — упорная работа без творческого увлечения и радости — могут все же выжать даже из надуманной темы рахитичный и чахлый рассказ.

Удачные замыслы, как талантливые дети, рождаются случайно, по неведомым законам, и начинается рассказ тогда радостно и легко, как первенец у молодоженов.

Мне кажется, что и этот рассказ мой, — повесть о давно минувших днях и прошлых почти забытых событиях, — небессодержателен, не пуст. Мне кажется, что бросать его не стоит. Рассказ этот правдив и вспомнился он мне в одинокий, зимний вечер. Денег не было и не было дров. Я лежал укутанный с головой в мою большую шоферскую шубу и в ленивую задумчивость мою прорвалось половодьем воспоминание,

стрепенуло, угнало прочь раздумье, и заставило, властно потребовало писать тотчас же. Все полней набухла голова образами, мыслями, обрывками фраз и диалогов, и рвалось все наружу, неотложно и настойчиво требуя взяться за перо.

Стопочка ровно нарезанной бумаги на моем столе лежала заманчивая, манила своей нетронутой, нестерпимой белизной. Я поспешил искромсать, исковеркать ее нестройными рядами мелко исписанных строк. А поверх их, в самой их гуще, нагромоздились друг на друга исправления и пометки, нагромоздились обильно и густо, как дыры на мишенях после учебной стрельбы.

Так я писал до утра. Писал до тех пор, пока первые не прогудели гудки, пока в убогую мою нетопленную комнату не заглянуло застенчиво утро, напомнить, что я устал, что пальцы моих рук ооченели и что окончен шестой по счету рассказ, шестой рассказ за всю мою недолгую жизнь...

Расслабленный зноем день клонился к вечеру, устало и словно нехотя. Усталал закат небо багряными парусами. Отблеском пожараищ пламенели окна соседних домов.

У крыльца, привязанная к палисаднику, была копытами землю кобылица ординарца и нетерпеливо грызла удила. И я сам, большими скорыми шагами рассекая комнату, нетерпеливо и нервно грыз удила, взнуздавшие мое воображение.

Я бился мухой в паутине старых и ненужных слов. Я пытался уйти от собственной памяти, засоренной

целыми ворохами заношенных образов и затасканных рифм.

Мне нужны были иные, никем еще не сказанные слова,—тяжелые, как последняя предсмертная слеза, тревожные и зовущие, как набатный гул в ночи. Мне нужны были не слова, а глашатаи,—а их не было.

На моем столе—хромоногом, искалеченном инвалиде, мозолила глаза записка начдива:

«Направляю до Вас с ординарцем моим звестия, а также копии о зверской неслыханной расправе с комбатом 2/143 товарищем Шкодой,—предлагаю в самом срочном порядке составить надгробный стих для газеты нашей «Красный Боец».

Сроку даю сутки—до завтрашнего дня, а еще лучше просив бы,—обратно с ординарцем прислать мне и самый стих наперед для прогляда.

В просьбе прошу без отказа, потому, как Онуфрий Шкода другом мне, помощником и братаном двоюродным был.»

Начдив 47 Дорохов.

Я ворошил нетерпеливыми пальцами мои волосы, длинные, как у неудачника поэта. Я грыз собственные ногти от злобы на бессилие свое, на свои неумелые строки, искалеченные надуманностью, дряблые от недостатка воображения, тусклые из-за отсутствия той искренности и простоты, которая одна лишь может взволновать и тебя и других.

Творческое волнение, которое всегда приходит и никогда не придет по заказу—не соглашалось меня навестить.

А если пришло бы оно — вспухла б сразу голова от избытка еще не записанных строк и рука бы забегала по бумаге радостно, легко и торопливо. То, что в старину называли вдохновением, то, что капризно, как избалованный единственный сын, дарящий искреннюю и преданную ласку своей матери лишь невзначай и как редкий подарок — отказалось в тот вечер ко мне и на миг заглянуть...

Дело не клеилось, я был зол.

Восемь вымученных рахитичных строк и больше ничего...

Ординарец начдива ускакал обратно ни с чем.

Пурпур заката поблек, пожарища потухли, наступила ночь. На вечернем небе кое-где выступали словно кем-то просыпанные, нечаянно оброненные звезды. Месяц молодой и задирчивый боднул тонким рогом краешек облака и сам потонул в его толще.

Я сидел у раскрытого окна и держал опущенную голову на руках, поставленных локтями на колени. Тяжело вообще признать себя бесталанным, а еще тяжелее почувствовать это в отрочестве, в дни больших надежд и крепких чаяний.

Я представлял себе лицо начдива, — его серые, немного сошуренные глаза, крутой подбородок, высокий лоб и две глубокие борозды на нем, словно две неровные колеи разбитой проселочной дороги. Мне казалось, что слышу голос его твердый и жесткий, слегка прохваченный простуженной и сиплой хрипотой.

— Ворочайсь назад, Никола. Скажи пацану, душа с него вон, а чтоб к завтраму был мне стих и никакая сила!..

Через два часа кобылица ординарца уже снова ржала под моим окном, а сам он, низенький, худой и вертлявый, протягивал мне вторую записку:

«Приказываю в порядке боевого приказа, надгробный стих немедля составить и чтоб безо всяких волюнок...»

За неисполнение возьму под арест на двадцать суток и с «Красного Бойца» вообще выгоню, как суку и явного гада».

Ординарец, громко высморкавшись в руку, двумя быстрыми движениями отер нос и от себя добавил:

— Скачи, каже, Никола, до його, и душа з його вон... так прямо и каже — душа з його вон, а назад до мэна без надгробного стиха не вертайсь. — Чуешь? — каже... — Чую! — кажу... Ну, шо тут зробить. — Ординарец сокрушенно развел руками. — А еще вин казав, — поспешно добавил он — шо тоби башку на бок скрутыт, як стиха не будэ... Ей-бо, отак як я тоби кажу, отак вин мини и отрубив...

Ординарец, взглянув на меня, и очевидно почувствовав горечь своих слов, переминался с ноги на ногу, полез в карман, вытащил расшитый цветистый и замуколенный кисет, и вдруг, весело улыбнувшись и махнув рукой, протянул его мне:

— Закурйя, Михайло, матери его дуля!.. Закурйя, браток! Махра — вырви глаз, крипче ни за шо не знай-дешь!..

2

Я носился угорелым из угла в угол моей комнаты... Я опрокинул табуретку и не поднял ее... Я нервно мял свои пальцы и тер до боли лоб... Мне нужно было

хоть двадцать рифмованных строк, а их было всего восемь, и вдобавок никудышных.

Я знал, что начдиву не понять меня, не понять и не поверить доводам моим, просьбам и уверениям. Я чувствовал, что пошатнулось и рухнуло счастье, выпавшее на долю безвестному мальчишке, большое счастье быть певцом и поэтом дивизии.

Я изведал в тот вечер полынную, нестерпимую горечь разочарований подростка. И от этого, я то валялся на койке вялый, как немочь, то бегал по комнате, натываясь на вещи, ругая себя и свою бесталанность.

Я хорошо знал моего начдива, чьи приказы должны были исполняться точно, безотложно и не глядя ни на что. Занозой вклинилась в мою память еще с прошлого года, еще со времен боев под Ростовом, участь двух командиров, не исполнивших приказа и отступивших ранее срока. Вспомнился расстрел Григория Копытенко, лучшего друга самого начдива и любимца всей 105 бригады, казненного за пьянку в день наступления.

Что я мог сказать?! Чем я мог оправдаться?!

Начдив был уверен твердо и без сомнений, что если человек лишь вчера умел владеть шашкой или править грузовиком, то за ночь умение не забывается и не проходит, если только человек не в горячке, не в тифу и не ранен тяжело. И если лишь вчера я смог написать восторженный стих о каком-то, никому неизвестном Спартаке, то чем же я смогу объяснить свое неуменье сегодня? Чем смогу объяснить мой отказ составить надгробный стих в память Онуфрия Шкоды?

Сжав руками голову, я бегал нервно по комнате и споткнувшись об опрокинутую табуретку — упал и ушиб

колени. Я выругался зло и бессильно отвратительной и жирной русской бранью.

Вестовой Подива ¹⁾ — Василий Одноруков, мой друг и приятель, деливший со мной ложе, сахар и махорку, прибежал на грохот, рассмеялся и, погодя, сказал:

— Из пехтуры какой-то гриб с пакетом притопал... Непременно, говорит, обязательно надо!..

— Меня, что-ль?

— Выходит, что вроде тебя... Я и сам не пойму... От него толком не добьешься...

Вестовой ушел и через минуту вернулся:

— Ну проходи, чего топчешься? — сказал он кому-то, находившемуся за дверью.

Вошел низенький, коренастый и плечистый красноармеец с рыжими усами и небритым скуластым лицом. Взглянув на меня, он вдруг растерянно осмотрелся вокруг и запинаясь проговорил:

— Я... э-э... м-м... Я до... будем говорить, дорогого товарища ридактора, — собравшись с силами он вдруг залпом выпалил последнюю часть. Его очевидно смутило мое малолетство, мое злобное и нахмуренное лицо обиженного подростка.

— Редактора нет, но я его заменяю? Понял? Говори в чем дело...

— Не-е, никак нельзя... никоим родом...

— А ты что, с пакетом?

— Так точно, с пакетом.

— Ну так давай его сюда.

— Как же так, вроде не того... Наказано, стало быть, в руки...

— А ты откуда?

¹⁾ Подив — Полит. Отдел дивизии.

— Я, што-ль?—просветлев и улыбнувшись переспросил красноармеец:— Откуда родом?

— Да кой-чорт родом, послан откуда?

— Я... Я... от наших бойцов...

— «От наших бойцов! Никак нельзя! Никоим родом!»— передразнил его Василий.— Ишь ты, отставной козы барабанщик!.. Отдавай пакет, ишь ты, гляделки вылупил!.. Даром людям голову морочишь, растетеха дуровал!

Красноармеец от окриков моих растерялся еще больше, попытался было заикаясь и сглатывая слюну, что-то путанно и сбавчиво объяснить, но потом, окончательно сбитый с толку вестовым — нерешительно вытащил какой-то сверток из-за ремня, стягивавшего гимнастерку. Развернув длинное деревенское полотенце, а потом еще что-то вроде портянки, он извлек пакет и передал его мне.

На пакете с бьющей в глаза старательностью, было написано крупными буквами, неумело украшенными завитками:

ДОРОГОМУ ТОВАРИШУ РИДАХТОРУ
ДОРОГОЙ ГАЗЕТЫ НАШЕЙ «КРАСНЫЙ
БОЕЦ»

В собственные руки.

Вскрыв заклеенный хлебным мякишем самодельный пакет, я вытащил оттуда пять листков разлинованной от руки бумаги, густо исписанных с обеих сторон, и фотографии с заснятым, изуродованным и нагим, мертвым телом мужчины...

Ризалюция

Нащот зарубленного командира нашего Шкоды Онуфрия Остаповича.

«Заочно приветствуем Вас, Дорогой Товариш Рихахтор, и имеем до нашей газеты «Красный Боец» сообщить:

13-го Июля сего месяца неожиданным, негладанным налетом, впотьмах и ночью, бандою небызывестного бандита Голубчика захвачено было почти без всякого бою, местечко Годомысля, в котором мы, выходит, стояли гарнизоном.

А без бою, потому как неожиданность и опять же обратно подмога из нутра, от самых жителей сказанного местечка Годомысля. Так что наше охранение и вообще весь наш дозор и сторожевка были повырублены начисто, не успев даже вдарить тревогу, как полагается. Все дело сделалось моментом и при полной темени, прямо черным черно, так что только остатки нашего батальону успели уйти от полного разгрому и вырубки начисто. И был тою бандой захвачен живьем, в беззащитном сонном состоянии неукротимый герой, а ноне покойник, дорогой товарищ Шкода Онуфрий Остапович.

И банда того самого Голубчика не только что сказала комбата нашего смертной казнью, а ищо учинила ему мучительство зверское и невиданное по полной своей бандитьской неслыханной форме. И со слов жителей и даже баб, которые плакали в голос, от доброго своего материнского сердца, делаем мы Вам описание полное, безо всякой утайки, всех смертных мук

и конечной гибели прославленного героя, комбата нашего товарища Шкоды.

Перво-наперво, раздели они его почти до гола, то-есть оставили в одних сподниках и даже не во всем споднем, потому как рубаху на нем тут же порвали в клочья. И выходит, что были на нем, в смертный час, токи подштаники, безо всего остального прочего.

И оборотился к нему тут сам бандитский головной атаман и батька Голубчик с явной издевкою:

— Кажи, говорит, коммуна ты, или жидовский наймит?..

И ответил ему, не моргнув и глазом, товариш Шкода, как и подобает чистой коммуне и чистой пролетарии, безо всякой утайки и с полной гордостью:

— По отцу и матери, я, говорит, хохол-украинец, а по смыслу жизни коммуна—большевик и за Советы и Трудову Республику стоять буду до последнего, до крови и смертного дыхания...

— А в бога—дале опрос ему держит Голубчик— в бога веруешь?..

— Нет,—отвечает ему товариш Шкода,— не верую я, говорит, ни в какого бога, потому как бог есть злая выдумка и обман один, а леригия опия и угар для всего народа.

И отдал тогда зверский приказ Голубчик банде:

— Раз сам говорит, что в бога не верует, значит не нашей он веры, а жидовской нации. А раз так, то и обрезать его надо по жидовскому закону на вершок, а хрест на спине ему вырезать...

И повалили они тут же бесценного товарища Шкоду на землю и такую издевку над ним учинили, что весь гашник был в крови и даже описание сделать

невозможно. И еще вырезали живьем у него мясо со спины в форме хреста и глубиною в палец, а шириною в три. А сам комбат наш, до самого беспамятства, до последнего кричал:

— Да здравствует советская власть и вообще Мирровая Пролетария!

Так с этим криком он и помер, так с ним и дух спустил.

А когда на утро другого дня остатки нашего батальону, вместе с первым батальоном и второй ротой третьего, обратно пошли в наступление и отбили назад местечко Годомысля—нашли мы там на Соборной площади труп и дорогие останки товарища Шкоды и ишо 48 наших бойцов, зарубанных и перестрелянных, а также много явреев, даже яврейских совсем малых дитев, попадаются года на три не боле, убитыми и порубанными пока без счету. И только к завтраму можно будет вполне и в точности сосчитать и и представить численность убитых явреев точной цифрой в штаб, потому, как они на задворках большей частью валяются. А также с девяти наших пропавших без вести бойцов, может статься кое-кто меж явреев найдется...

А если дойдет до Вашего сведения, со стороны комбата 2-го батальона, нащот того, что мы вопреки приказу, захваченных живьем бандитов тут же кончали расстрелом, то тогда просим принять обратно во внимание, что такую издевку учинили нашему комбату и товаришам, а также иметь в виду за наше сердце, потому пощаду дать беспощадным врагам и гадам во время опять же боя не было никакой силы возможности. Тем боле, мы народ пока-что темный и до сей поры понять нам не вмоготу, для чего надо заведо-

мую контору пощажать, когда одна ей должна быть дорога в Землянский уезд Могилевской губернии.

А еще посылаем мы Вам, Дорогой Товариш Рихахтор, патрет в смертном виде товариша Шкоды и просим, как можно скорее, не продолжая время, охлопотать Орден Красного Знамени бывшему комбату нашему, а ныне покойнику, геройской памяти бойцу Онуфрию Остаповичу Шкоде.

Просим Вас, Дорогой Товариш Рихахтор, не отказать нам в просьбе нашей и патрет и Орден, что схлопочите товаришу Шкоде, переслать на родину к нему в Екатеринославскую губернию, Александровский уезд, Новогупаловская волость, а села какого неизвестно и нам самим, но для такого неукротимого героя, не жалко, и даже непременно стоит, ходака нарядить по волости, для выяснения точности местожительства вдовы Шкодиной и сынака его.

И ищю просили бы мы Вас спечатать нашу резолюцию в дорогую нам газету «Красный Боец», а если сумнение Вас берет, что расписано длинно и бумаги много пойдет, то скоротить мы согласные на полное Ваше усмотрение, а для спосыла до Вас выбираем старшину нашего Лариона Туликова.

С заочным почтением:

Бойцы 2-го батальона, 143 полка.

4

Убогая штабная лампа светила тускло и недостаточно. Фитиль был короток, керосина было мало. От этого огонек затрепыхал и лампа засипела словно от натуги, словно от упорных непосильных стараний светить и не гаснуть.

На столе лежал нарезанный большими ломтями свежий «хозяйский» хлеб и кусок сала, разделенный Василием на три части с удивительной точностью. Это было приношение Лариона Туликова — его харчи, взятые из Годомысля на дорогу. От прокопченного до черна котелка с кипятком валил густой пар. Сахару было вдосталь — лишь вчера нам выдали, «сахарное довольствие» (наполовину им же, наполовину изюмом). Хлеб был душист и мягок, сало прозрачно и розово, кипяток прикрашен спелой, ворованной клубникой.

Сало и вкусный пшеничный хлеб были редкой и праздничной пищей у нас — у меня и Василия; сахар — у Лариона Туликова, ибо уж месяц, как в Чусоснабарме¹⁾ он отсутствовал.

Василий сидел напротив меня, опустив голову и насупив свои темные, словно густой тушью выведенные брови. Изредка подымая голову, он исподлобья глядел в мою сторону зло и осуждающе. Он никак не мог об'яснить себе мое вдруг вспыхнувшее радушие и усиленное внимание к Лариону Туликову, лишь частому назад встреченному мною же неприветливо и злобно. И думал, наверно, Василий и ругал меня:

— От, чортова душа, чумовой парень!.. Поддакнуть ему захотел, — человека зря, можно сказать, торжественно обляял... Теперь он с ним целуется, а ты сам душой сидишь... Вот и разбери тут! Говорю — неразбери-бериха!

А Ларион Туликов, обжигая губы о край жестяной кружки, видимо наслаждался и потел обильно. Пот густо усеял мелкими каплями его выпяченные скулы

¹⁾ Чусоснабари — чрезвычайно уполномоченный совет снабжения армии.

и скатывался оттуда путаными ручейками по щетинистым небритым щекам. На лбу его капельки множились, собирались и падали с бугров у бровей в одиночку, крупные и тяжелые, как град.

— Сахар—она вещь очень даже, будем говорить, полезная... Вобщем для человека,—говорил Тупиков, настаивательно жестикулируя рукой.—Кусочек, прямо не на что глядеть, а с ним, поди, не то что котелок, самовар цельный усидишь. А без него, вот она штука-то, кружки не осилишь...

— Отчего ж не осилишь? В самом лучшем виде,—перебил его Василий.—Китайцы, так те, к примеру, и вовсе без сахара...

— Свободная вещь,—согласился Ларион,—дураку и китаезе закон не писан... Какой же, будем говорить, с «ходи» пример, народ дикой, азияты..

— Еще, что ли, кружечку налить?—решил я перебить спор.

— Отчего ж, если не в обиду,—улыбнувшись всем своим большеротым, скуластым лицом, сказал Тупиков.—Чаяк, я так скажу, уважительная вещь. Им ведь не обопьешься. Чай, квас да огурец—в брюхе не жилец... Штука сквозная!

И после чая, завертывая толстую, как палец, цыгарку и любовно и тщательно оглаживая ее, Ларион Тупиков мне рассказал о погибшем комбате:

— Полгода тому назад, иль точнее говорить, немного поменее, назначили, значит, к нам товариша Шкоду комбатом. А у нас тогда, до того, значит, как в вашу дивизию наш полк пихнули, вся рота почти с одной волости была и весь батальон все больше земляки—вообще одна губерния. Короче сказать, все как

один кацапы, а тут на тебе—в командирах хохол ходит, и наречье хохлацкое—все гакает—и так и далее...

Не по нутру пришлось нам это дело—командир, прямо говорить, не в масть попался. Мы все разуты, раздеты, а на нем полушубок новый и сапоги, что надо, а время зимнее!

Покомандирил он у нас этак с неделю, и пошли у нас по батальону тары-бары, то да се... Стояли мы тогда в резерве, а в резерве, само понятно, обязательно надо языки помозолить, без этого ни одна стоянка не обходится. И кругом разговор один, все нащет комбата. И мнение у нас, и разговор единоголосный,—ни к хрену, мол, комбат, и даже, прямо сказать, не годится... Первым делом хохол, и доверья к нему должно быть мало. Потому как большей частью бунтует кто?—Хохлы!.. Животы кто нам порет, кто звезды на лбах вырезает?—Опять, они ж!.. Деревни чьи жгем?—Хохлацкие!..—Это первым делом, а второй вопрос—сам себе высоко держит и обут и одет—все цельное, а на нас на всех—одна рванина.

И пришло как-раз через неделю волынке время, раздору час.

Выходит нашему батальону распоряжение под Радомысль на Соколовского итти. А мы все, как один, говорим:

— Нет, браток, шутишь,—дураков нет. Не за то боролись, что-б командиры, вроде офицеры, в полушубках, да в сапогах цельных, а чтоб мы все,—голы, босы... Нет, говорим, время, говорим, зима! В тылах, говорим, в сапогах комиссарите, а на хронт в рваных лаптях посылаете?! Не пойдем, говорим, и никакая кака!..

Комроты и политруки даже давай уламывать:

— Что вы, говорят, офонарели, сукины сыны! Вы знаете, чем это пахнет?!

А мы на своем стоим, как быки уперлись:

— Не пойдем, говорим, хоть ты что! Слово на месте, дело решенное! А на испуг, говорим, нас не возьмешь!.. Мы все, говорим, здесь в стос перепуганные, нас не застрашаешь!..

И пошла расти волынка, и пошел костер разгораться...

И выходит тут к нам сам товариш Шкода и ораторствует с сердцем:

— За тылы, говорит, разговору нет и не может быть... За тылы, говорит, не я в ответе... В тылах, говорит, контры много и саботаж явный кругом да рядом! Но, не думайте, говорит, что нащот тылов у нас глазу нету. Там, говорит, свое, говорит, дело, и свой, говорит, глаз!.. А за сапоги, говорит, особ статья, за сапоги поговорим. Выходи, приказую, говорит, наперед, кто из вас всех босей!

А мы ни с места, и даже не шелохнулись:

— Кажный у нас, говорим, другого босей, потому как все босы.

А он олять свое, и как вдарит о землю ногой, как топнет:

— Выходи, говорит, приказую, слышь-те, приказом говорю, выходи кто босей!

А мы все гудим, гудим, но никто ни шагу. И сорвался тут и вылетывает, с таким прискоком, прямо к нему Петька Шумов. И прямо в харю Шкоде дырявым своим штиблетом тычет. А заместо подметки у него хванерки кусок телефонным шнуром прикручен.

— Не видишь, говорит, повылазило, в чем ходим! Так гляди!

— Вижу,—говорит товариш Шкода,—вижу! Выходь теперь, приказую, говорит, кто всех голей!

Выскочил тогда я с ряда, выхожу наперед, показуюсь. А у меня шинель сзади до самого хлястика искрой на паровозе спалило. Ехали мы, значит, а меня в сон ударило, и от шинели только верхняя половина цела да две обгорелые полы спереди болтаются.

— Взгляните, говорю, товариш Шкода, в каких хвраках ходим!.. Свободная вещь, околеть с морозу!

— Верно, говорит, непорядок! Скидывайте,—приказует нам с Петькой товариш Шкода,—ты штиблеты, а ты шинель!

Я, конечно, моментом скинул, а Петька сел разуваться, а наши все стоят,—глядят, что дальше будет.

— Так,—говорит товариш Шкода.—Так!—И кидает мне свой полушубок, а сам мою шинель на себя одет... И Петьке велит обмотки разматывать, а сам тоже садится, прямо на снег, разуваться, сапоги с себя скидывать.

Ну только, понятно дело, мы не дали. Пронял он нас этим делом до самого сердца глубины. Увидели мы, что за человек есть товариш Шкода, поняли мы этим самым наскрозь, какой он есть... Ударило нас в стыд, и кинулись мы все до него скопом, прямо грудую, закричали «ура» в полном смысле, и давай качать... Выше сосны кидали, и все без умолку «ура» орем, надрываемся.

— За тобой, говорим, товариш Шкода, теперь не сомневайся, за тобой, теперь, куда хошь, на смерть и гибель пойдем...

И сколько не просил я его, сколько не молил, чтоб обратно свой полушубок взял. Никак! Ничем не проймешь! Батальон весь кланялся:

— Со стыда сгорим, товариш Шкода! Уважьте, примите назад полушубок!..

— Нет, говорит, слово мое крепкое! Я и так вас уважил—в сапогах хожу.

Тогда ребята ко мне со взыском:— Зачем, говорят, брал!.. А разве я один? Волынку-то скопом терли»...

Ларион Тупиков тяжело и с шумом выдохнув воздух, стукнул себя рукой по коленке, сокрушенно покачал головой и принялся свертывать новую сигарку.

И было досадно мне, после мерной и певучей речи Тупикова, вслушиваться в тяжелый и переливчатый храп Василия, заснувшего тут же на полу тотчас же после чая.

— Так-то... Да-а-а...— сказал напоследок Ларион Тупиков, разуваясь и развешивая мокрые, дурно пахнущие портянки.— Делов-то еще много! Делов, можно сказать, уйма!.. А народу, будем говорить, меньшеает что ни день... А в чем загвоздка,— так это, что человек человеку не пара, а товаришей Шкодов тож не каждый день бабы рожают!..

5

Лампа гасла. Я укоротил фитиль и вновь подлил в керосин воды.

Комната наполнилась разноголосым храпом Тупикова и Василия. С улицы, в раскрытое окно, доносились шаги часового, тяжелой поступью пахаря шагавшего взад и вперед по досчатому тротуару.

Летняя июльская ночь была ароматна, небо было густо усеяно золотыми зернами звезд, неслышный ветерок едва шелестел густой листвой каштанов, что росли перед окном. Час тому назад, дробно простучавший по железу крыш, легкий и быстро промелькнувший дождь напоил свежестью жадную и сухую землю. И от этого, от дождя, была так душиста летняя ночь, так чист воздух и так пахуча зелень.

Мне не спалось.

Я поставил лампу на табурет, а сам, растянувшись на столе, глядел в темную густоту ночного неба и на звезды, вкрапленные в эту густую темень яркими золотыми дробинками.

Почему-то вспомнилось детство, припомнился отец и такая же ночь в Новороссии, на каменистом берегу Черного обманчивого моря, у самого подножья Колдун-горы, горы-предсказательницы осенних норд-остов и летних дождей.

А потом длинное и радостное воспоминание оборвалось мгновенно и резко... Где-то вблизи, казалось, под самым ухом призывно и хрипло пропел петух, ему отозвались другие, и долго резала ночную насто-роженную тишь петушиная разноголосая переключка.

И вдруг вспомнилось, хлестко ударило по нервам, отдалось тревожно в голове:— «Надгробный стих». Приказ начдива.

Петух знает свои обязанности и даже за час до смерти, не упустит петушиная память, не спутает ночные и сонные, похожие друг на друга часы, и провозгласит звонкое петушиное горло, когда надо, полночь и во-время прокукарекает рассвет.

А я забыл свой долг... Реквием Онуфрию Шкоде не был готов. Часы бежали и неумолимо близилось утро.

Я мгновенно вскочил на ноги, поспешно поставил на стол лампу и принялся перечитывать послание бойцов. Я читал его спеша и захлебываясь. Пальцы рук моих дрожали, глаза жадно бегади по строчкам, и губы, едва поспевая за глазами, повторяли строку за строкой.

Внезапно, словно от удара какого-то внутреннего тока, я бросил его недочитанным, взерошил волосы рукой и, встав ногой на подоконник, задумался и при-

тих. Образ неведомого Онуфрия Шкоды неожиданно всплыл и вырос перед моими ненасытными зачарованными глазами, и сразу же, как-то необъяснимо, стал близким и родным, понятным и волнующим. Я, никогда от роду не видевший его, почувствовал и узнал, что должен быть он широкоплеч и строен, что голос его был резок и чист, взгляд прям и непридирчив.

Обрушилось что-то большое, хлынуло сильной и бьющей струей, захлестнуло. Выпал из памяти, в'евшийся занозой приказ начдива, уши, словно оглохнув, перестали слышать надоедливый и громкий храп Василия и Тупикова. Незрячие глаза, глядевшие все также в окно, уж не видели ни звезд, ни ночи, грудь дышала глубоко и ровно.

В непрочной радости и муках, в увлечении, сменившем бессилие, родился стих. В голове ожили и затрепетали иные, никем, как мне казалось тогда, еще не сказанные слова, те, что раньше упрямылись и не хотели вспомниться, те, что раньше наотрез отказывались притти. Строились слова в ряды, полнились и наливались звучностью только-что обретенные, найденные строфы...

Мои взволнованные мысли были быстры и стремительны. Лихорадочные глаза то подолгу глядели вглубь и внутрь, то отрывисто и скользко пробегали по вещам. Кровь была пьяна творческим зудом, а пальцы, державшие карандаш, суетливы и нервны.

Реквием Онуфрию Шкоде через час был готов. Я был горд моим творением, горд и счастлив.

Я не привожу его здесь, потому что годы не те... Потому что ты, мой друг, требовательный читатель, будешь бранить меня за неумелую агитку.

Москва, январь, 1928 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Повесть о дружбе	5
Три встречи	34
Смерть Исидора Лютого	69
Городок	105
Рассказ о шести документах	130
Реквием Онуфрию Шкоде	145